

Санкт-Петербургский Номинатор Обороны СССР

1996 *

Тимур
Максютов

Чешуя
ангела

25 лет издательскому дому
Городец

Тимур Максютов

Чешуя ангела

ИД «Городец»

2021

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

Максютов Т. Я.

Чешуя ангела / Т. Я. Максютов — ИД «Городец», 2021

ISBN 978-5-907358-61-4

Что есть бессмертие – дар или проклятие? От древней памирской легенды до блокадного Ленинграда и наших дней лежит дорога Конрада, покуда бьётся изумрудное сердце. Когда выходишь в путь, не бери ничего лишнего. Если пусто в карманах, остаётся выворачивать душу. И так выходит, что Ангел, устав от никчёмных трудов, сжигает дочерна крылья, падает с небес и обрастает чешуёй. Неимоверные силы стремятся привести к победе Великую Пустоту. Но тянется к небу и свету в питерском дворе тополёк, тонкий, как светловолосый мальчишка…

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

ISBN 978-5-907358-61-4

© Максютов Т. Я., 2021
© ИД «Городец», 2021

Содержание

От автора	7
Часть первая	9
0. Ладога	9
1. Игорь	11
2. Станция	12
3. Странный клиент	14
4. Мама	17
5. Имя	19
6. Тополёк	22
7. Дом на Петроградке	24
8. Бабушка	28
9. Странности	31
10. Папа	36
11. Белка	40
12. Сталинский дракон	42
13. Лёд	47
Часть вторая	51
14. В горах	51
15. Фантомные боли	55
16. Изумрудная долина	57
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Тимур Максютов

Чешуя ангела

Роман

© Тимур Максютов, 2021

© ИД «Городец», 2021

* * *



Максютов Тимур Ясавеевич родился в г. Ленинграде в 1965 году. Вырос в г. Таллине (Эстония). По комсомольской путёвке был направлен в Свердловское высшее военное училище, которое закончил в 1986 году с красным дипломом и золотой медалью. Служил в Монголии и Забайкалье, капитан запаса. Председатель секции фантастической и сказочной литературы Союза писателей Санкт-Петербурга с апреля 2021 года.

Мой Город – тонкая мембрана между водой и небом.
Ловящая дыхание диафрагма, переливающаяся

полусотней цветовых оттенков – оттенков свинца.
Крыло бабочки, расправленное перед взлётом.
Или чешуйка, обронённая пролетевшим на закат ангелом?

Георгий Цветов, «Ленинградский ноктюрн», 1940

От автора

На Востоке не принято ходить на кладбище.

Нет такого, как у славян: чтобы скамейка у могилы, покосившийся железный столик. Сесть, выпить, закусить. Поставить гранёный стакан с водкой, накрытый ноздреватым хлебом.

Поговорить с ушедшими из жизни за жизнь.

А женщинам татарским вообще дорога к мёртвым заказана. Нельзя на погост. Женщина – породительница сущего, хранительница его трепетного огонька. Ни к чему бывать там, где всё кончается.

Сегодня опять приснилось.

Я восьмилетний обалдуй. Летние каникулы в Башкирии, на большой железнодорожной станции Янаул. К вилке соседского «Школьника» бельевой прищепкой присобачена сложенная вчетверо почтовая открытка. Крутишь колёса – трещит. Словно микулинский двигатель славного штурмовика Ил-2. Я лечу на бреющем над утоптанной тропой и поливаю фашистских гадов яростным огнём автоматических пушек. Шмель сопровождения надёжно гудит над ухом.

На крыльце выходит Белая Бабушка. Белая, потому что седая. И не от старости. Бабушка словно молодой воробей – маленькая, подвижная, задорная.

Она поседела, когда почтальон разом принёс ей две похоронки на сыновей.

Ак-аби старшая в роду. Не дожили ни муж, ни братья. Кто без вести, кто вскоре после войны от ран.

В Янауле был военный госпиталь. В парке слонялись выздоравливающие – бледные, в стиранных-перестираемых бинтах. Грелись на ярком уральском солнце. Улыбались: живы.

Моей маме было три года. Она вылавливала на улицах мужчин в выгоревших гимнастёрках без погон и тащила их, смущённых, к себе домой. Поясняя всем встречным:

– Это папа мой! С фронта вернулся.

Ак-аби принимала их, не гнала. Кормила. Слушала сбивчивые рассказы, положив подбородок с ямочкой на сухой кулачок...

Бабушка машет мне с крыльца:

– Умм, малай, айда домой!

Дома кружка тёплого молока утренней дойки, синеватого от пригоршни малины. Светящиеся изнутри ягоды булыжаются, как бродячие морские мины в Финском заливе.

Разрумянившаяся бабушка хлопочет у печки. Эмалированный тазик наполняется шанежками, тёплыми, с жёлтой корочкой и коричневыми пятнышками на ней. Будто подсоленухи.

Бабушка берёт узелок с солнцебокими шанежками, повязывает выходной белый платок в мелких алых цветках. Берёт меня за руку:

– Айда.

Её ладошка твёрдая, тёплая.

Трубят маневровые, как слоны на водопое. Диспетчер хохочет по громкой связи на весь Янаул. Пахнет креозотом, полынью и пылью.

За путями кладбище. Покосившиеся, заросшие памятники: полумесяцы, изредка жестяные звёзды.

На дальнем краю загородка. Там железные, крашенные в голубое пирамидки. Без имён. Только даты и цифры: «12.06.1942. 6 чел.». «26.05. 1942. Семья».

Ак-аби делает немыслимое: идёт на кладбище. Отворяет скрипящую калитку. Достаёт шаньгу, разламывает пополам, одну половинку даёт мне. Крошит свою над травяными холмиками. Я делаю то же самое.

Тихо говорит:

– Земляки твои. Ленинградцы.

Поздней весной и летом сорок второго эшелоны эвакуированных шли печальным потоком, как одна похоронная процессия. Стояли в Янауле подолгу. Жители собирали последнее – прошлогоднюю картошку, вялые луковицы. Пекли «пустые» (откуда мясу взяться?) беляши и шаньги. Несли на станцию, к эшелонам.

Ленинградцы в вытертых тёплых пальто, в пуховых платках крест-накрест. Жарким башкирским летом их била ледяная блокадная дрожь.

Голодные, всё равно ели деликатно. Собирали крошки в птичьи ладошки.

И умирали прямо тут, над дымящимися тазиками с шанежками.

По всей дороге. До Перми. До Омска...

Часть первая Конрад

0. Ладога

Ладога, май 1942

– Воздух!

Капитан буксира, матерясь, оттолкнул рулевого и сам обхватил красными ладонями деревянные рукоятки штурвала. Просипел:

– Петьяка, смотри в оба! Как вниз пойдут – крикнешь.

– Маневрировать будем, товарищ капитан?

– Да какие, к чертам, манёвры! С этой мандулой не уйдём.

Капитан с ненавистью оглянулся через треснувшее стекло рубки на вихляющуюся сзади длинную баржу, набитую эвакуируемыми из Ленинграда.

Острые скулы, будто обтянутые грязно-серой обёрточной бумагой – на такой взвешивали блокадный паёк. Бесцветные, равнодушные глаза. Драповые пальто, измазанные штукатуркой, вытертые шубы, нелепые под тёплым майским небом.

Солнечные зайчики весело перепрыгивали с волны на волну. Недавно сбросившая ледяную чешую Ладога была непривычно ласкова.

Пикировщики встали в круг. Будто решили станцевать кровожадный танец перед тем, как накинуться на жертву.

Самая нетерпеливая «штука» вывалилась из хоровода и упала на маленький караван. Зудение превратилось в визг, прогнутые посередине крылья с «лаптями» обтекателей придавали самолёту облик сошедшей с ума и поэтому летящей кверху брюхом чайки.

Беловолосый мальчик, содрав жаркую шапку-ушанку, смотрел на «юнкерс». На плоскостях вдруг вспыхнули злые жёлтые язычки. Грохот очереди выбил из воды две фонтанные дорожки, распугав солнечных зайчиков.

Дорожки наперегонки скакали к борту.

Люди начали медленно, будто ломаясь, падать на колени, потом – ложиться на живот, неловко пряча под себя мешки и узелки с нищенскими своими драгоценностями. Крики раненых заглушал грохот пулемётов.

А мёртвым было уже всё равно.

– Бомбы экономит, сука. Развлекается.

Небритый дядька в замасленном бушлате, вцепившись прокуренными пальцами в ржавый борт, наблюдал за уходящим на повторный круг бомбардировщиком. Обернулся на стоявшего мальчика и заорал:

– Свихнулся, малёк? Падай на палубу!

Немец возвращался, почти цепляя колёсами сверкающую осколками солнца воду.

Матрос пихнул мальчика в перекрещенную пуховым платком грудь, сам упал сверху, прикрывая. Крепко запахло махвой и перегаром.

Заполняя всё вокруг, нестерпимо вул самолётный двигатель. Отбойными молотками били в уши пулемёты.

Дядька всхлипнул и расплылся огромной, тяжелеющей тушей. Из него толчками выливалась кровь, горячая и липкая.

Мальчик попытался закричать, но не смог – передавленная грудь отказывалась дышать.

Вой. Грохот. И кусочек синего неба между нависающим бортом баржи и пепельными волосами матроса.

* * *

Капитан, кряхтя, поднялся по верёвочному трапу, перевалился через борт. Осколки стекла расстрелянной рубки порезали щетинистую щёку; юшка нехотя сочилась, капая на тужурку. Пробрался по скользкой палубе в бурых потёках, переступая через трупы, похожие на пыльные тощие мешки. Машинально поднял тряпичную куклу: лицо нарисовано химическим карандашом, рука оторвана, нитки болтаются, как обнажённые нервы.

Нашёл. Потрогал недвижную спину в чёрном бушлате. Просипел:

– Егорыч, чего же ты! А швартовка теперь на ком? Эх...

У борта скрючился труп мальчика с вырванным пулей виском. Белые волосёнки топорчились слипшимся тополиным пухом.

Капитан поморщился, оглядывая заваленную палубу. Пробормотал:

– Не довезли. Они думали, что отмучились, а теперь вон как...

Услышал скребущий звук, оглянулся.

Мёртвый мальчик искал что-то, шаря грязными пальцами по железу. Нашупал осколок височной кости, вставил на место.

И открыл глаза.

1. Игорь

Город, лето

Открыл глаза.

Синим бугром громоздилось тело верного баюрга: правые три лапы перекрутила предсмертная конвульсия, крылья обгорели до костей. Седло с обрывками лопнувшей подпруги валялось шагах в двадцати. Это же какой мощности был заряд!

Игорь покосился на иконки. Жизней осталось всего две. Пятую он потерял, когда Чёрные выскочили из оврага – одного завалил выстрелом из арбалета, другого достал мечом, но последний успел выбросить когтистые педипальпы.

Четвёртая жизнь, ясная дело, сгорела во вспышке взрыва. А где ещё одна?

– Игорь Анатольевич!

Или Чёрных было больше?

– Игорь Анатольевич, там посетитель.

Дьяков чертыхнулся, содрал шлем. В глаза ударил яркий свет, щедро заливающий кабинет сквозь панорамное стекло.

– Лиза, сколько раз просил: не дёргай меня в обед! Что я, не могу в законный перерыв расслабиться?

– Пять часов уже, Игорь Анатольевич…

Ни фига себе! Надо завязывать с игрушками, а то вся жизнь пронесётся – не заметишь.

– Так почему раньше не зашла?

– Я заходила. Два раза. Вы обозвали меня гарпией и сказали, что болтов у вас на таких – полный колчан.

Игорь буркнул что-то неразборчивое и потёр стремительно краснеющие щёки.

– Что за клиент? Самой не решить? Я же принимаю только по записи.

– Он хочет лично.

– Мало ли кто чего хочет! Я вот хочу квартиру в Испании!

Елизавета хмыкнула. Ну да, глупость ляпнул: она же сама сканировала купчую. Окончательно разозлившись, Игорь махнул рукой:

– Пусть через сайт записывается. Или к Максу его, к бездельнику.

– Макса вы сами отправили в архив, в Подольск. Я приглашу, хорошо?

– Лиза! Ты для чего в приёмной посажена? Чтобы всякое дерымо отсекать. Ты же мне и помощник, и телохранитель. Обязана беречь начальника, мозг его, душу и тело.

Помощница усмехнулась:

– Особенно последнее. Я-то не против. Там, в вашей игрушке, нет миссии с раздеванием телохранителя?

Дьяков поперхнулся. Елизавета спрятала улыбку, нахмурила бровки и сказала:

– Игорь Анатольевич, надо принять. Такому не откажешь. Сами увидите.

Повернувшись обтянутой попкой, поцокала каблучками к двери.

Игорь вспомнил, что не сохранился. И крепко выругался.

2. Станция

Вологодская область, июнь 1942

Паровозы кричали как раненые звери.

Белая ночь незаметно перетекала в утро. Начальник станции спал, поблескивая лысиной над скрещёнными руками. Толстая женщина с лицом цвета сырого теста постучала по косяку.

– Петрович, можно? Там ленинградские бузят, тебя требуют.

Начальник поднял воспалённые глаза. Понял не сразу. Пробормотал:

– Литерный прошёл?

– Так ночью ещё, ты же сам пути разгонял.

Яростно потёр уши, просыпаясь. Нахлобучил выгоревшую фуражку.

– Чего бузят? Пункт питания работает?

Из-за женщины высунулся высохший человечек: непомерно большое, болтающееся на плечах вытертое пальто, круглые очки с треснувшей линзой.

– Позвольте, я сам. Товарищ железнодорожник или как вас там. Я старший вагона, Претро Арнольд Семёнович, профессор Ленинградского университета. Впрочем, это к делу... Это же безобразие! Наш эшелон загнали к чёрту на кулички, стоим уже сутки.

Начальник потянулся, треща позвонками. Устало сказал:

– График движения определяется вышестоящими инстанциями. И меняется постоянно.

Вчера пропускали встречные воинские составы, потом литерный. Сейчас эвакогоспиталь пойдёт, там раненые бойцы. Вы же ленинградцы, сознательные люди. Должны понимать! Кипятком вас обеспечили? Пункт питания?

Женщина кивнула.

– Вот видите – работает пункт питания, круглосуточно. Что вам ещё? Раненые поедут в первую очередь, естественно.

– Там раненые, а у меня за ночь – четверо умерших, – тихо сказал профессор. – У людей силы кончились, слышите? Всё. Есть предел. Организм после длительного голода начинает пожирать сам себя, дистрофия на такой стадии неостановима. Плюс цинга, хотя – какой же это плюс? В городе ещё держались, а тут – всё. Мы же вырвались, доходит до вас или нет?! Эти люди такого насмотрелись – на фронте и десятой доли... Дети. Детей – половина эшелона. У них глаза как у стариков.

Профессор снял очки, сморщился. Достал грязный носовой платок.

– Ну всё, всё, – начальник подошёл, обнял за плечи – острые, костиистые. – Вы же столько выдержали, потерпите ещё несколько часов.

Ленинградец сморкался и глухо говорил сквозь платок:

– Понимаете, им до пункта питания не дойти. Далеко. Вчера под вагонами проползали – девочку еле выдернуть успели из-под колёс. Можно доставку пищи к эшелону организовать, а? Подумайте, голубчик, умоляю!

– Это конечно. Татьяна, распорядись. Пусть термоса большие найдут. И хлеб в мешках отнесут.

– Нарушение инструкции, Михаил Петрович. Термоса-то откуда? Вёдра если только, так остынет в вёдрах-то, – забормотала женщина.

Начальник отодвинул её, не слушая. Вышел на платформу.

Паровоз на втором пути стравливал пар, сердито шипя и выбрасывая белые клубы. У водокачки смачно ругались смазчики.

Начальник шёл, солидно кивая в ответ на приветствия. Помятый репродуктор на телефонном столбе рычал, хрюпал, заикался – будто не хотел говорить:

– Гррр... информбюро... После тяжёлых продолжительных боёв оставили город Керчь...

Мужчина с медным чайником снял кепку. Растроенно сказал в пустоту:

– Как – оставили? А Севастополь что же теперь?

Репродуктор, не в силах продолжать сводку, разразился громовым треском и затих.

Подбежал бригадир обходчиков:

– Михаил Петрович, так не пойдёт! Вы зачем Смирнову рапорт подписали? У меня и так работать некому.

Начальник развёл руками:

– Так у него на второго брата похоронка. Как он может матери в глаза смотреть? Сказал – не отпущу, так всё равно на фронт сбежит.

Бригадир выматерился и закричал:

– А тут что, санатория ВЦСПС? У меня люди по двое суток не спали. Ишь ты, сбежит он! Да любой на фронт со всей нашей радостью…

Бабка в чёрном платке налетела, заокала, размахивая рукавами растянутой кофты, словно крыльями:

– Слыши, милок, ты же здесь начальник? Где эшелон с ленинградскими-то? Ухайдакалась уже, не сыщу никак.

Петрович хмуро спросил:

– Тебе зачем, мать? Не положено по станции без дела шататься.

– Что без дела-то? – всплеснула руками старуха, – я вот им тарку молока и миску кортошки припёрла, покормить хоть, угостить. Забесплатно, да. А то натерпелись, сердечные. Хороша кортошка, с укропом, с маслицем коровьим! И рогулек напекла, пущай лопают!

– Откуда вы такие берётесь, дурные? Мы ленинградцев в пункте питания пустыми щами откармливаем, да понемногу. Нельзя после долгого голода много тяжёлой пищи.

Бабка пожевала губами, не понимая. Кивнула:

– Миска-то чижолая, да. Помог бы кто, – и продемонстрировала обмотанную тряпками огромную кастрюлю.

Репродуктор вдруг ожила:

– …Ленского исполняет лауреат Сталинской премии Сергей Лемешев.

Лауреат высврашивал, куда удалились весны его златые дни, заглушая мат уходящего бригадира.

Репродуктор опять зарычала, обессиленный. И смолк.

Начальник станции снял фуражку, вытер платком лысину. Пошагал в сторону диспетчерской. Вздрогнул от неожиданности.

Паду ли я, стрелой пронзённый?

Иль мимо пролетит она…

Мальчик лет семи, перевязанный крест-накрест пуховым платком, пел чисто и сильно, будто настоящий оперный тенор. Белые волосы пушились над обнажённой головой.

– Что деется? – горько вздохнула старуха во вдовьем платке. – Умом тронулся, болезный. С голодухи-то! Ленинградской, сразу видно.

Начальник станции молча смотрел на мальчика с мёртвыми глазами, на изуродованный рваным шрамом висок.

…благославен и тьмы приход!

Мальчик вдруг прервался и продолжил совсем другим голосом:

– Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога…

3. Странный клиент

Город, лето

Игорь Дьяков обычно с первого взгляда определял, ради чего заявился очередной клиент.

Красномордые нувариши искали дворянские (а лучше – княжеские) корни. Безликие чиновники с оловянными глазами заказывали гербы для своих богом забытых муниципалитетов: электорат справляется нужду в дощатых сортирах и топит трактора в бездонных лужах, но герб подай! Горячий джигит из Махачкалы, швырнув на стол пачку пятисотевровых банкнот, перетянутых аптечной резинкой, требовал срочно, немедленно, лучше – вчера, раскопать доказательства его происхождения прямиком от Пророка.

– Э-э-э, помоги по-брратски: сын женится. В той семье троюродный брат дедушки – самого Расула Гамзатова родственник! А мы что, хуже?

Клиенты уходили довольными, дело процветало. С геральдикой было проще всего: выдумывать гербы, невзначай упомянуть на презентации кадуцей, стропило и червлёно-серебряный бурелет – и заказчик твой. Бежит в банк переводить круглую сумму на счёт.

Изобретение громоподобных родословных давалось тяжелее. Дело было не в технической стороне: всегда можно раскопать стопроцентные доказательства того, что светлейший князь Потёмкин-Таврический ночевал в станице Энской по пути в Таганрог. А вот с кем ночевал – кто же знает? Вполне может быть, что и с прапрабабкой соискателя. Почему бы и нет? Григорий Александрович был мужчина снисходительный и сословными предрассудками не изуродованный. Факт прабабкиного адюльтера, конечно, недоказуем. Но зато – неопровергим!

Но вот моральная сторона… Менее удачливые и менее сообразительные коллеги-историки, упоминая Игоря Анатольевича, брезгливо поджимали губы, а на университетских голосованиях закидывали чёрными шарами. Да и самому было противно оповещать очередного волосатухого купчина о его необычайно благородном происхождении от графа Священной Римской империи. Но Дьяков особо и не пачкался: обеспечивал соискателей только текстами исследований с осторожными формулировками («вполне вероятно», «не исключено»). А уж грамотами «общества потомков Рюрика» в тиснёных золотом папках свиной кожи и алюминиевыми «Орденами Святого Пигидия Василеостровского» мещан во дворянстве обеспечивали совсем другие люди. Хотя, конечно, по наводке Игоря – за долю малую.

Но здесь с первого взгляда было ясно – особый случай.

Возраст посетителя определить не получалось: ему могло быть и сорок пять, и шестьдесят. Прямая спина, холодное лицо, сплошь покрытое то ли шрамами, то ли морщинами, словно объёмная карта горной местности. Длинные пальцы переплетены, как корни древнего карагача. Под немигающим взглядом Игорь непроизвольно поёжился. Гость говорил рублеными фразами, будто отдавал команды.

– Я решил обратиться именно к вам, Игорь…

– Просто Игорь, – кивнул Дьяков.

– Хорошо. Меня разрешаю называть, например, Конрадом. Так вот. Я ознакомился с вашей деятельностью и оценил расследование с танком из Невы. Поэтому я здесь.

Игорь зажмурился от удовольствия. Дело и вправду было славное. В районе Невского пятачка аквалангисты обнаружили на дне затонувший в сорок втором году танк «Клим Ворошилов». Внутри неокрашенного, прибывшего прямо из заводского цеха корпуса (не было времени тогда на покраску, счёт шёл на часы) обнаружили останки шести человек. Игорь, неизменный консультант ребят из военно-исторического общества «Поиск», сразу заинтересовался шестым – сверхштатным – членом погибшего экипажа.

В пропитанном соляркой иле внутри бронекорпуса нашлись два загадочных предмета: фотография, наполовину размытая водой, и комок ржавчины и стекла.

На фотографии – юная брюнетка рядом с размазанным силуэтом, надпись на обороте: «март 41. Т. Д.» Эта тропинка поначалу показалась тупиковой: мало ли симпатичных ленинградок жили в ту предвоенную весну?

А вот с комком получилось интереснее: после тщательного изучения Игорь идентифицировал его как фотоаппарат редкой марки «Solo-34», выпущенный ограниченной серией в Бостоне в середине тридцатых годов двадцатого века.

Откуда в танке, провалившемся под лёд жуткой зимой сорок второго, оказался лишний член экипажа? Что делал внутри боевой машины импортный профессиональный фотоаппарат?

Кропотливая работа с первоисточниками привела, в конце концов, к цели: знаменитый ленинградский поэт и журналист, звезда тридцатых Георгий Цветов посещал Америку в тридцать седьмом году, делал серию очерков о профсоюзном движении. В его дневниках обнаружилась запись: «Неплохо живут рабочие лидеры в САСШ, совсем неплохо! На званом вечере подавали шампанское и лобстеров (местные раки, только крупные и не такие вкусные, как у нас на Дону) – и это в то время, когда пролетариат Детройта задыхается в чадном дыму литейных цехов по десять часов кряду! Мне вручили в подарок от американских братьев по классу новенький фотоаппарат с музыкальным названием».

Теперь и фотография брюнетки укладывалась в версию: возможно, «Т.Д.» и была той самой Татьяной Дубровской, героиней знаменитого стихотворения «Сирень», последней любовью поэта Цветова?

Да, пропавший без вести в декабре сорок второго корреспондент «Смены» Жорж Цветов, автор знаменитой «Маньчжурской баллады», любимец жён партноменклатуры и кумир ленинградских студенток уговорил-таки командира тяжёлого танка взять его на борт, чтобы первым сделать снимки развалин вражеских укреплений для свежего выпуска газеты.

Не получилось. Гибель его была страшной: в кромешной темноте, в густом мате, в обжидающей невской воде, затопившей танк через открытые люки…

На памятник собирали деньги всем Петербургом, но Игорь тогда выступил по телевидению и сказал, что лучшим мемориалом станет восстановленный «Клим Ворошилов», в котором поэт-безбожник принял свой последний бой, своё посмертное крещение в ледяной воде, крепко замешанной на крови и мазуте. А деньгам и получше применение найдётся – тем же блокадникам к празднику продуктов подкинуть.

– Было дело, – улыбнулся Дьяков, немедленно проникаясь симпатией к посетителю. Он и сам считал дело с танком самым славным из своих исторических расследований. – Чем же я должен вам помочь, э-э-э… Конрад? Старое германское имя, сразу вспоминается Конрад Старший, герцог франконский. Вы из остзейских немцев?

Гость сухо ответил:

– Не имею чести. Происхождение прозвища сейчас не стоит вспоминать. У меня к вам необычное и сложное дело, Игорь. Не уверен, что оно вообще кому-нибудь по плечу. Если не вы, то и никто.

Он прикрыл ладонями лицо – не защищаясь, а сосредотачиваясь. На безымянном пальце левой руки блеснул массивный перстень.

Игорь терпеливо ждал. Интересно, какие образы сейчас проносятся перед глазами гостя? Кому он шепчет глухо, то ли приказывая, то ли умоляя?

Посетитель наконец вернулся к действительности.

– Формулирую. Мне нужно расследование. Настоящее, серьёзное. Я пробовал сам, но мне не хватило узкопрофессиональных навыков. На их приобретение жаль времени.

Дьяков невольно поморщился: самоуверенность гостя начинала раздражать.

– Не ко всем документам удалось получить доступ. Поэтому я желаю поручить это дело вам. Вы должны справиться. Понадобится серьёзно покопаться в архивах, в том числе закрытых, а у вас есть нужные связи, я знаю. И включить логику. Словом, тщательно подготовлен-

ная, правильно организованная осада этой загадки – с траншеями, минами и контрминами, с мортирами и бомбардами. И финальным штурмом.

– Хм, – замялся Игорь, – тут, знаете ли…

– Не переживайте, – холодно заметил гость. – Деньги у меня имеются. Я понимаю, что будет недёшево. Как вам угодно – наличными, рублями или валютой. Могу перевести на счёт, в том числе любой заграничный.

– Я не о том, – замахал руками Дьяков. – Просто вы не сформулировали задачу. Вы так издалека заходите, что я просто не понимаю, чего ждать. Может, вам понадобятся точные координаты колчаковского золота или реальные доказательства причастности Бориса Годунова к известному убийству, а я, знаете ли, не волшебник. Итак, что вы хотите расследовать?

– Что же я хочу… – задумчиво протянул Конрад.

Вновь погладил иссечённое лицо длинными пальцами, блеснул жёлтыми нездешними глазами.

– Я хочу знать, кто я такой.

4. Мама

Ленинградская область, июнь 1937

— Газеты следует читать. Ежедневно.

Бабушка строго посмотрела сквозь очки. Зашуршала «Правдой», аккуратно складывая по сгибам, положила на стол, отодвинула любимую чашку с синей розой на боку, раскрыла портсигар. Застучала мундштуком папиросы по столешнице.

Мама сильно сжала руку, но мальчик стерпел. Он знал, что мама отчаянно боится бабушки, хотя и не понимал почему. Бабушка была, конечно, строгая, но нестрашная, у неё не было крючковатого носа с бородавкой, как у бабы-яги на картинке в книжке сказок, она не орудовала лопатой, чтобы усадить ребёнка в печь перед поеданием.

Может, потому что обед всегда готовила домработница?

Мама сказала тихонько:

— Мы торопимся, хотим вот на речку. Пока ещё не очень жарко, чтобы не напекло.

— И тем не менее, — строго возразила бабушка и выпустила в низкий потолок колечко дыма. — Вчера, двадцатого июня тридцать седьмого года, наши сталинские соколы Чкалов, Беляков и Байдуков завершили перелёт через Северный полюс и приземлились в Америке. Ты понимаешь, что это историческое событие? И не соизволила прочесть! Это неприемлемо, милочка!

— Я прочту потом, обязательно, — прошептала мама и бочком-бочком пошла с веранды, таща за собой мальчика.

— Поразительная несознательность. К обеду не опаздывайте! — сердито крикнула бабушка.

На улице мама повеселела. Нагнулась, сняла парусиновые тапочки. Сказала:

— Тоже разувайся. Ножкам полезно голенёкими, а в городе-то по асфальту нельзя босиком.

Мальчик представил себе, как они шагают босиком по горячему тротуару Невского (бабушка всегда сердилась и говорила, что правильно его называть «Проспект Двадцать пятого октября»). Видя такое безобразие, постовой грозит жезлом и неодобрительно качает головой...

Нет, пусть лучшие милиционер улыбается, подбегает, а вместо жезла у него мороженое! Вручает эскимо маме, мальчику дарит чудесный свисток и отдаёт честь.

Мальчик счастливо рассмеялся. Мама посмотрела удивлённо, а потом тоже заулыбалась, подхватила на руки, начала целовать:

— Чудо ты моё, хохотуша заливистая!

Так, босиком, они топали по мягкой пыльной тропинке, потом по прохладной траве, которая щекотала пятки. После мальчик нашёл прут и сбивал жёлтые цветки одуванчиков, будто храбрый конармеец острой шашкой — головы всякой белогвардейской сволочи (про это бабушка рассказывала). Наконец, пришли на берег.

Имя у речки было ласковое: Тихоня. Над ленивой гладью летали наперегонки синие стрекозы, садились на торчащие из воды тростинки и раскачивались, словно циркачи-канатоходцы.

Рядом расположилась компания, три загорелых парня. Они громко гоготали и поглядывали на маму, и мальчику это не нравилось. Ещё больше не понравилось, когда они бросились в воду, поднимая брызги и распугивая циркачек-стрекоз, начали плавать вдоль и поперёк Тихони, продолжая хохотать и коситься: видят ли их мама.

Мама ловко сняла через голову нарядный сарафан с воланами, оставшись в синем купальнике с эмблемой «Динамо». Вытащила заколки — волосы мягкой золотой волной легли на плечи. Потом строили из песка крепость, но получалось плохо: стены всё время норовили осипнуться.

Мама расстелила большое полотенце и сказала:

– Ложись и загорай. А я сплаваю, хорошо?

– Ма-а-м, я тоже хочу!

– Нельзя сразу, погрейся немножко. Будь тут, не уходи никуда!

– Почему мне греться, а тебе – купаться?

– Потому что потому, всё кончается на «у»!

Возразить было нечего. Мальчик обиженно буркнул:

– Ну иди куда хочешь!

Мама нагнулась: её душистые нежные волосы коснулись лица, защекотали мальчику живот, и стало так хорошо, что замерло дыхание.

– Не дуйся, я быстро! Потом вместе у самого берега поплещемся, а то здесь сразу глубина.

Мальчик вздохнул. Плавать он ещё не умел. А было бы здорово саженками рассекать воду, отфыркиваться, а потом растираться полотенцем, как загорелые парни. А ещё лучше – в белой фуражке стоять на мостице большого советского корабля и отдавать всякие команды ловким матросам. Например, «полундра». Взять подаренный постовым свисток и свистеть всех наверх. Или «свистать»? Вокруг громоздятся льды, белые медведи приветливо машут лапами и восхищаются смелостью челюскинцев и капитана в белой фуражке...

Мальчик поднял голову, осмотрелся. Парни ушли за кусты: оттуда слышались тугие удары по волейбольному мячу и гогот.

Мамы не было видно. Нигде.

Мальчик вскочил. Солнечные зайчики прыгали по воде, слепили глаза. Увидел силуэт, похожий на золотистую голову, но нет, это солнце переливалось на поверхности реки.

Очень хотелось заплакать. Мальчик сжал зубы и пошёл к берегу. Стопы глубоко погружались в сырой вязкий песок, который удерживал, словно не хотел пускать.

Постоял. И шагнул вперёд.

Волна лизнула холодным языком. Мальчик зажмурился от страха и ещё раз шагнул. И ещё.

Ноги вдруг потеряли опору, ледяная вода набросилась, накрыла. Мальчика охватил ужас: он размахивал руками, что-то кричал, но получалось только бульканье. Силы быстро кончались.

Открыл глаза: над головой плескался солнечный потолок, медленно удаляясь. Мальчик вдруг понял, что эта весёлая, играющая бликами плоскость – последнее, что он видит. И стало легко. Или – всё равно?

Вдруг появились гибкие тёмные тела, в лицо мальчику заглянуло странное существо, похожее на огромную ящерицу: немигающие жёлтые глаза, чешуйчатая морда. Сильные лапы царапнули кожу, упёрлись в спину, выталкивая к солнцу...

Сверху падали горячие солёные капли.

– Не плачьте, мамаша, дышит ваш утопленник!

– Сыночек, ну как же так?! Я ведь говорила: никуда не уходи, жди меня!

Парень нёс его, завёрнутого в полотенце, на крепких руках. Вверху качалось синее небо, потом его закрыли переплетённые ветки, сквозь которые ободряющее подмигивало светило.

У него были жёлтые глаза с вертикальными щелями зрачков.

5. Имя

Город, лето

— …Только смутные детские воспоминания. Как вспышки от выстрелов в темноте: внезапно, без системы, без связи. Ни имени своего не помню, ни фамилии.

Гость словно отогрелся, вспомнил человеческие интонации и движения.

Прикрыл лицо ладонью, поэтому голос звучал глухо. Что-то было не разобрать, но Игорь боялся переспрашивать, напряженно вслушивался и корил себя за то, что не догадался сразу включить диктофон.

— Год рождения приблизительно тридцать третий. Или тридцать четвёртый.

Дьяков поражённо крякнул. Этому моложавому, подтянутому мужчине девятый десяток?

— Не удивляйтесь. Есть у меня… Скажем так, некие особенности. Потому и ведомство Берии так рано мной заинтересовалось. Или – не Берии? Лаврентий Павлович сгинул давно, а интерес остался. Очень навязчивый интерес, впрочем, об этом позже. Кстати, хочу сделать комплимент: в вашей книге «Наследники Джугашвили» многие детали точно описаны. Например, эта манера Шелепина чайной ложкой выстукивать марши на подстаканнике. А про Александра Михайловича вы зря так уничижительно, он, конечно, далеко не святой, но говорил вполне грамотно, всё-таки ленинградец, хотя родился в деревне и в органы пришёл от станка. Не был он кабинетным работником, отнюдь, лично диверсантов готовил, в блокаду за линию фронта десятки групп забросил.

— Это вы про Сахаровского? Начальника Первого главного управления КГБ?

— Да, про него.

— Кха-кха…

Игорь сделал вид, что закашлялся. Согнулся над столом и осторожно, пытаясь не заскрипеть, выдвинул ящик. Протянул руку, нащупывая диктофон.

Чёрт, клавиша запуска вторая или третья? Глупость, конечно. В ящике ничего не запишется.

— Вы не смущайтесь, – усмехнулся Конрад. – Доставайте свой магнитофон или что у вас там. Я же понимаю, для пользы дела.

Дьяков покраснел, пробормотал:

— Да я и не думал…

Задвинул обратно скрипнувший ящик. Злясь на себя, попробовал перевести разговор:

— А про родителей какие-нибудь сведения? Их имена, место работы? Ваш дом в Ленинграде, о нём хоть что-нибудь помните, кроме того, что на Петроградке? Сколько этажей, какие магазины рядом? Кинотеатр, трамвайные пути – любые зацепки. У меня есть подборки фотографий того времени. Посмотрите, может, вспомните, сильно облегчите мне работу.

Гость молча покачал головой.

— Я даже не представляю, с чего начинать. После войны прошло столько лет, неужели вы раньше не пытались что-нибудь выяснить?

— Я пытался, – тихо сказал Конрад. – Поначалу вообще ничего не мог вспомнить, только в пятидесятые начались случайные, как бы сформулировать, вспышки. Это в последнее время многое стало… Не знаю, как толком объяснить. Всплывать, что ли… Обычно во сне. Будто я мальчик в панамке, и мы с папой деревце сажаем во дворе дома. Как бабушка на маму кричит, как из репродуктора «граждане, воздушная тревога». А то вдруг, что я за басмачами по горам гоняюсь, и год на дворе тысяча девятьсот двадцать пятый. Или что я вообще девушка. Собираюсь на свидание и волнуюсь… Не надо делать такое лицо, Игорь. Я рассказываю абсолютную правду.

Дьяков закрыл рот и кивнул.

– Да, я уже добрых семьдесят лет пытаюсь понять, кто я на самом деле. Но всё это время мне мешали. Вернее, слишком активно помогали. Эти люди умеют, знаете ли... Нагнать туману, подменить документы. Да что документы, им целиком кладбище подменить не проблема. Придумать человека и биографию его в Большой советской энциклопедии напечатать. Назначить свидетелей его жизни. Жену, одноклассников. Мать родную. Сидит такая старушка в чёрном платке, мутные слёзы роняет. Рассказывает на камеру, какими тяжёлыми были роды имярека, и сама в это верит. А имярека не существовало никогда!

Дьяков поскучнел. Похоже, просто сумасшедший. Кто-то шапку из фольги мастерит для защиты от инопланетного излучения, а этот от вездесущих спецслужб спасается, страдалец. Надо же было так дёшево купиться, чёрт! Сахаровского лично знал, ага! С Шелепиным чаи распивал. Ещё немного, и окажется, что он самолично диктовал Ленину апрельские тезисы.

– Мы с вами уже больше часа разговариваем,уважаемый, – раздражённый Дьяков перешёл на официальный тон. – Моё время – деньги. Стоит ли продолжать? Либо оплачивайте консультацию и заключаем договор на услугу, либо...

– Не злитесь, Игорь, – миролюбиво заметил гость. – Я понимаю, что трудно воспринимать мной сказанное всерьёз. А ведь мы даже не начали толком знакомиться, и много вам открытых чудных... Сколько я должен за потраченное время?

Дьяков сгоряча объявил совершенно несусветную цифру. Конрад, не торгуясь, невозмутимо раскрыл бумажник, отсчитал и положил на стол купюры.

– Для договора удобнее, чтобы я был кем? – уточнил он и достал пачку разноцветных паспортов. – Гражданином Евросоюза? России? Или, может быть, Аргентины?

Игорь ошарашенно махнул рукой:

– Всё равно.

Конрад протянул синюю книжицу с семисвечником на обложке:

– Тогда пусть будет Израиль.

– Я отнесу секретарю для подготовки договора.

– Хорошо. А мне дайте пока ваш альбом с фотографиями, чем чёрт не шутит, может, и вправду признаю место.

Дьяков развернул экран монитора:

– Естественно, не фотоальбом, всё оцифровано. Вот так листать. Попробуйте включить ассоциативную память, в детстве она многое значит. Например, в нашем доме была булочная. Свежий хлеб привозили перед рассветом, грохотали поддонами, как раз под окном моей комнаты. Я всегда просыпался, слушал эти звуки: как деревянные поддоны скрипят по металлическим полозьям. И запах хлеба – душистый, кисловатый.

Гость слушал внимательно.

Игорь продолжил:

– Трамваи, например. Бизжат на поворотах, будто бранятся. Или сирень. Звуки, запахи. Понимаете? Хоть какая-то зацепка.

– Да. Трамваи снова начали ходить пятнадцатого апреля сорок второго. А от парадной до булочной было четыреста пятнадцать шагов. Детских. Это метров двести, – гость говорил тихо, глядя в пространство. Словно был не здесь. – Поребрик расколотый, в щели – трава... Нет, не то. Пух тополиный. Как метель летом, поджигали его. А спички прятали от взрослых, у дворницкой, в стене хитрый такой кирпич. Вынимался, и ниша была тайная. Спички, точно. А старшие ребята папиросы ныкали. Тополь. Что-то там с тополем-то было...

Игорь кивнул:

– Вспоминайте.

Вышел из кабинета, плотно прикрыл дверь.

– Елизавета, включи камеру. Он, кажется, чокнутый, как бы не поджёг чего.

– Я в самом начале включила, всё записывается.

– Молодец ты у меня, умница! Купюры проверь, паспорт дал еврейский, наверняка подделка.

– Забыли добавить, что красавица. Вряд ли купюры фальшивые, и зачем почётному члену общества «Эрец» поддельный паспорт? У него должно быть вполне законное израильское гражданство. Я его сфотографировала сразу, как пришёл, и прогнала через поисковик. Нашла одно-единственное изображение. Зато какое! Смотрите.

Репортаж в «Нью-Йорк Таймс» от шестьдесят пятого года был посвящён международной спецоперации по спасению заложников-европейцев во время известных событий в Бомбанге. На фотографии раненую девочку-подростка перевязывал Конрад – в куртке французского парашютиста, с автоматическим карабином за спиной.

– По подписи и тексту непонятно, кем он там был. Но явно – не боевиком Катанги, – сказала Лиза.

– Ну дела, – пробормотал Дьяков. – А что ещё за структура, членом которой он является? И откуда ты это знаешь?

– Эх, Игорь Анатольевич, – вздохнула Лиза. – Вы же сами учили меня быть внимательной к деталям. Перстень у него видели? Наградной. Общество «Эрец» объединяет людей, совершивших подвиг во спасение народа Израиля. Например, его членом был Шиндлер. И Отто Скорцени за похищение и вывоз Эйхмана.

– Копию паспорта отправь Николаю, пусть по своим каналам пробьёт. Ну, как обычно.

Когда Дьяков вернулся в кабинет, Конрад сидел сгорбившись у потемневшего монитора.

– Я найду свой дом. Паук на стене булочной. Четыреста пятнадцать шагов.

Поднял на Игоря ледяные глаза: – Меня зовут Толик. Анатолий. Папа называл меня Топольком.

6. Тополёк

Ленинград, 1939

Пятиэтажный дом на Петроградке был огромной непознанной страной. Толик устраивал экспедиции в разные его уголки и закутки, каждый раз открывая какие-нибудь чудеса.

Как-то дворник забыл запереть чердак, и Толя с другом Серёжкой Тойвоненом, сыном самого настоящего красного командира, пробрались туда, в загадочный прохладный полумрак.

Из слуховых окон косо падали солнечные лучи, пылинки танцевали в их свете, как балерины на сцене Кировского театра.

Перелезая через толстые, пахнущие смолой балки, исследователи добрались до сваленных в углу деревянных лопат, которыми дворник Ахмед счищал зимой снег с крыши, и прочего барахла. Среди скучных корзин и угловатых ящиков обнаружили толстенный «Атлас водных путей Российской Империи» за 1884 год.

Серёжка шмыгнул носом и с видом знатока заметил:

– Это древние марускипты. Дореволюционные!

Толик задумался и поправил:

– Не «марускипты», а «манускрипты». Только они тогда должны быть написаны на папирусе или этом, как его? На животной шкуре, в общем. Свиной.

Серёжка ярко представил себе знакомую по дедушкиной деревне свинью Машу, худющую, грязную и носящуюся по двору за курицами. Дедушка называл её «холерой» и «Антантой грёбаной».

Поймать Машу было делом неимоверно трудным, а уж написать на ней что-нибудь – и вовсе невозможным.

Поэтому Серёжка авторитетно покачал головой и, кого-то копируя, пробасил:

– Это вряд ли, голубчик!

Толик упал на ящик и захохотал, дрыгая ногами так, что слетела стоптанный сандалетка:

– Голубчик!!! Хы-хы-хы! Слово-то какое смешное!

Серёжка посмотрел на товарища и тоже начал смеяться. Потом лёг рядом на ящике и задрыгал ногами, но шнурованные ботинки не слетали.

Потом вместе искали жёлтую сандалетку. Потом обнаружили под открытым слуховым окном брошенное птичье гнездо размером с чайное блюдце, аккуратно сплетённое из сухих травинок, соломинок и веточек, в которых застряли пёрышки. На дне лежало маленькое, с лесной орех, пёстрое яйцо, рядом – такие же пёстрые скорлупки.

Толик затаил дыхание, прошептал:

– Из него должен цыплёнок выплыться. Тихо, не спугни.

Серёжка взразил:

– Это рыбку можно спугнуть, тогда не поймается, а яйцо какое-то маленькое.

– Может, это будет маленький цыплёнок, воробышок?

Они просидели, не шелохнувшись, до самого заката, пока с улицы не донёсся визгливый голос:

– Сергей! Ну куда запростился, ирод? Домой иди, ужин стынет.

В следующий раз дверь на чердак оказалась закрытой. Судьба яйца так и осталась загадкой.

* * *

Из мрачных подвалов тянуло плесенью и могильным холодом, туда Толик ходить не любил. Старшие рассказывали, что там охотятся на дошкольников гигантские крысы с горящими красным огнём глазами.

— Вам там делать нечего, мелкие, понятно? Сожрут вместе с косточками. Лёку помните из тридцатой квартиры? Вот, сгинул там, и с милицией не нашли! Постовой пошёл, фонарём посветил и увидел гигантского крыса с окровавленной пастью, а из неё кусок помочи Лёкиных штанов свешивается. Ну, мильтон начал из своего нагана садить, все пули выпустил — а зверю хоть бы что, даже не поморщился. Так что не вздумайте соваться в подвал!

Сами-то старшие туда наведывались часто, видимо, устраивали засаду на чудовищного крыса. Однажды Толик пытался подсмотреть подробности охоты через разбитое подвальное окно, но ничего не разглядел толком, только услышал глухие раскаты хохота и почувствовал запах махорочного дыма.

Перед Первомаем папа принёс с работы саженцы со странным названием «отбраковка». Как раз на ленинский субботник.

Репродуктор распевал бодрые марши. Старые листья и прочий мусор сгребали в кучи, Вовка из двадцать седьмой приколачивал скворечник. Папа вынес охапку саженцев, старшеклассники сразу налетели, оттолкнув мелюзгу, расхватали те, что получше — крепкие, украшенные яркими, как петлицы пограничников, листьями. Серёжка под шумок тоже утащил ствол. Они с матерью уже по очереди орудовали лопатой, готовя посадку.

На земле остался лежать последний саженец, тощенький, с бледным тельцем и сломанной веткой. Листики у него были вялые, серые, Толик чуть не заплакал от обиды.

— Ну, чего ты расстроился?

Папа присел рядом на корточки, обнял.

— Чего-чего... У всех деревья хорошие, а у меня доходяга чахоточная.

Папа рассмеялся:

— Это особенный тополь, среднеазиатский. Очень красивое дерево, сильное, высокое. Выше всех вырастет во дворе, до самого неба.

— Правда-правда? Прямо до небес?

— Правда. Только надо ему правильную ямку выкопать, хорошенко полить. А ветку сломанную мы перевяжем, и она заживёт.

Толик очень старался, хотя лопата была большая и тяжёлая. Потом, пока папа держал саженец за ствол, засыпал бледные корешки пахучей чёрной землёй. Сам натаскал воды из дворницкой. Выпросил у Вовки обрывок красной матерчатой ленты, из которой делали банты на первомайскую демонстрацию. Привязал к верхушке, пояснил:

— Чтобы советские военлёты издалека видели, когда будут на своих бомбовозах и дирижаблях пролетать. Мой тополёк ведь до самого неба вырастет, прямо у них на дороге.

Папа улыбнулся, поправил очки. Погладил Толика по голове, сказал:

— Ты у меня сам как тополёк. Волосёнки мягкие, светлые, словно пух тополиный.

Репродуктор передавал радиоспектакль про юность вождя, а мужики уже накрыли стол, обычно занятый доминошниками, звякали гранёными стаканами и хвалили папу:

— Молодец, Самойлыч, теперь наш двор самый зелёный в районе будет. Не сразу, конечно. Когда деревца подрастут.

7. Дом на Петроградке

Город, лето

Над раскалённым мешком Каменностровского проспекта дымилась хриплая ругань маюшихся в пробке машин. Высокий беловолосый человек шагал по тротуару, глядя перед собой, не вынимая рук из карманов старомодного светлого плаща, надетого абсолютно не по погоде.

Стайка юнцов в драных шортах и лёгких майках лихо налетела, шурша колёсами скейтов. Ловко обогнула шагающего, как автомат, мужчину. Кто-то весело крикнул:

– Не жарко вам в балахоне-то? Из какого музея добыли?

На лице мужчины не было ни капельки пота. В ответ на подколку не улыбнулся. Остановился у зеркальной витрины, попытался пронзить взглядом бликующее стекло – не смог.

Дверь распахнулась, звякнув колокольчиком, выбросила в раскалённый воздух одуряющую волну парфюма и натужное жужжание, будто пчела злилась не в силах найти леток.

На крыльце вышла девица: волосы разноцветные, словно умывалась радугой, многочисленные колечки позывикают в ушах, ноздрях и голом пупке. Вытащила тонкую сигарету, щёлкнула зажигалкой, скептически посмотрела на плащ, фыркнула.

– Сударыня, здесь теперь парикмахерская?

– Салон, мужчина. По-русски же написано.

– Несомненно. А буточная здесь была? Раньше? Например, лет двадцать назад?

Переносчица радуги опять фыркнула, словно молодая кобылка, брезгливо сморгла носик:

– Ну вы даёте, мужчина! Вы ещё спросите, чё тут при ихнем, как его… при Брежневе было. Если стрижца будете – так проходите, мастер свободен.

Человек не отвечал. Подошёл к стене, начал ощупывать, прикрыв глаза. Сделал шаг назад. Ещё отступил и замер на крае поребрика, взглядываясь в серую запылённую поверхность.

За спиной, в считанных сантиметрах, ползли машины, сердито сигналя замершей фигуре в нелепом плаще.

Многолетние слои штукатурки не смогли скрыть след давнего осколка: центральную щербину в ладонь и разбегающиеся от неё трещины. Один, два, три…

Восемь.

Восемь изломанных лапок.

– Паук. Вот ты где, паучок, – прохрипел человек в плаще. Качнулся, скользя подошвами, чуть не упал навзничь. Чёрный внедорожник вильнул в сторону, раздражённо заревел.

– Мужчина, вы чё, обкуренный? – фыркнула девица.

Поморщился. Отчеканил:

– Сударыня, извольте изъясняться вежливо. И не «ихнем», а «их».

Переносчица радуги выронила из оранжевых губ тонкую, как зубочистка, сигарету, дрогнула гирлянда канцелярских скрепок в ноздре:

– Чё?

– Не «чё», а «что». Папиросу подберите.

Девушка набрала воздуха, чтобы осадить седого, поглядела в нездешние глаза, осеклась, закивала:

– Да, конечно. А то чё… что же. Сударь.

Нагнулась за окурком, звякая железками.

– Благодарю вас, – сказал человек в плаще и церемонно поклонился.

Свернулся в проулок, меряя длинными ногами потрескавшийся асфальт, считая про себя шаги.

Дошёл. Остановился, задрав голову. Шевеля губами, подсчитал этажи.

Дом было не узнать. Фасад сиял зеленоватыми стёклами, свежей бирюзовой краской. Вернулась на фронтон лепнина, когда-то осыпавшаяся, словно перхоть с головы старика.

Арка внезапно оказалась забрана кованой решёткой. Мужчина потрогал новодельный чугун, оглянулся по сторонам, увидел дверь. Подошёл, подёргал вычурную бронзовую ручку, погладил металлические пупырышки домофона, отступил на шаг.

Удачно начавшийся поход завершился фиаско, здоровенная дверь в металлических фигурных накладках выглядела несокрушимой. Конрад почувствовал, как наваливается знакомая безысходность, не мучившая его вот уже несколько дней, с момента прилёта в Город.

Упрямо выдвинул нижнюю челюсть, шагнул к двери, решительно грохнул кулаком по кнопкам, глядя прямо в синеватый зрачок камеры, ещё раз и ещё.

Динамик щёлкнул, вяло пробормотал:

– Ну ты чего, сталбить, больной? Тут вип-объект, в соседний двор сссать иди.

– Будьте добры, пропустите меня, пожалуйста.

– Непонятливый, сталбить? Я тебе постучу сейчас. По голове, сталбить.

И куда-то в сторону, глухо: «Лёха, иди сюда. Там какой-то конченый, сталбить».

– Настоятельно прошу открыть.

– Может, ещё отсосать тебе? К кому припёрся? – уже другой голос, напористый.

– Мне действительно нужно попасть во двор. Извольте отворить.

– Да пошёл ты! Вали отсюда, пока я ментов... Тыфу ты, пока полицию не вызвал.

Анатолий постукивал кулаком по кнопкам – методично, без гнева.

– Ну ты нарвался, придурок...

Щёлкнул замок. Выскочил мужик лет тридцати пяти – лысый, плечистый, в чёрной униформе с нашивкой «охрана» на груди.

Конрад отступил, спокойно наблюдая, как охранник, пыхтя, пытается выдрать короткую резиновую палку из кожаной петли на поясе.

– Всё, каюк тебе, сейчас и без ментов...

Вышедший следом коллега плечистого, сутулый и мятый, лениво бубнил:

– Ну чё ты, чё ты? Не заводись, Лёха. Опять, сталбить, проблемы будут.

Лысый подкатился на кривых пружинистых ногах, зыркнул снизу вверх:

– Сам уберёшься, дядя? Или труповозка понадобится? Чего пялишься, я тебе не телевизор...

Вгляделся в глаза Конрада – и вдруг обмяк. Замер, уронил дубинку на асфальт, скрипился, будто собираясь заплакать.

– Майор, ты? Батя?

Уtkнулся в грудь, обнял. Конрад глядел на сотрясающуюся лысину.

Охранник отнял от плаща зарёванное лицо, сбивчиво заговорил:

– Я ведь все годы... Та ночь под Гудермесом. Как ты меня тащил, Батя...

Конрад мягко убрал его руки, проговорил успокаивающе:

– Всё нормально, всё уже прошло. Кончилась та война, давно кончилась. Вы меня пропустите во двор?

Лысый всхлипнул. Утёр лицо рукавом, выдохнул, рассмеялся:

– Конечно, майор, тебя – куда угодно, хоть в Смольный. Жаль, я там сейчас уже не работаю, сюда вот кинули. Хочешь в Смольный, Батя?

– Спасибо за столь лестное предложение, но сейчас мне нужно именно по этому адресу. Я пошёл?

– Валяй!

Лысый нагнулся, поднял дубинку, начал дрожащими пальцами пристраивать в петлю, объясняя напарнику:

— Это наш майор, классный был командир. Со второй чеченской, если бы не он, половина питерского ОМОНа не вернулась бы. Мне-то наверняка цинк корячился. Железный мужик. Герой России!

— Командир, сталбыть, — кивнул сутулый. — Так сбегать, сталбыть, в магазин? Такое дело надо отметить. Боевое братство, всё такое. Герой, сталбыть.

— Да ты чего, не будет он пить. Он и живой-то не пил, а сейчас — тем более.

Сутулый икнул и переспросил:

— Живой? А сейчас какой?

— Так убили его. Вот как он меня вытащил под Гудермесом, медикам сдал — и через полчаса. Снайпер, точно в лоб, и сфера не спасла. Он ведь Героя посмертно получил. Эх...

Лысый вновь сморщился, утёр лицо. Махнул рукой и пошёл к двери, пошатываясь.

Сутулый икнул ещё раз и растерянно почесал лоб.

* * *

Двор был чужим.

Жил на Петроградской стороне обычный ленинградец, коренной. Рабочий оборононого завода или инженер, а то и конферансье из Дома культуры, местная знаменитость. Без излишеств, но достойно. Ругался с соседями по коммуналке, одолживал до получки, курил «Бело-мор» непременно фабрики Урицкого. Перед первомайской демонстрацией торопливо глотал из горла общественный портвейн в подворотне, а потом шагал, крепко сжимая выданный профоргом плакат. Слова на плакате были по отдельности правильными и понятными, но собранные вместе ничего не означали.

Грохотал костяшками домино по дощатой столешнице и покрикивал на мальчишек, гоняющих штопаный мяч во дворе.

На утоптанной земле островками пробивались бессмертные подорожники и одуванчики, сирень вечно подвергалась налётам подросших мальчишек, спешивших на первые свидания. Поломанные ветки вновь отрастали, чтобы в следующем мае опять приманивать начинающих донжуанов. На весь огромный двор — полдюжины гаражей, предмет зависти одних и гордости других. А теперь...

Конрад не узнавал страну детства. Куда что подевалось?

Землю накрыло больничное одеяло асфальта. Сараи и гаражи исчезли, как и бессмертная сирень. Однаково подстриженные кусты неизвестной породы выстроились рядами, словно болваны-новобранцы на плацу. Когда-то просторный, бесконечный, тенистый двор оккупировало войско разномастных, но одинаково наглых иномарок — самодовольных, сияющих, надменных.

И деревья тоже пропали. Остался один тополь, дотянувшийся кроной до уровня крыши. Раскалённый асфальт двора дышал неподвижной мертвечиной, но там, на двадцатиметровой высоте, тополь ловил неощутимый внизу ветер: ветки подрагивали, листья колебались, меняя цвет, будто посыпали точки-тире неизвестному адресату.

Конрад поймал сигнал. Погладил морщинистую кору, твёрдую, шершавую, как шкура дракона. Задрал голову, щурясь от сверкания полуденного неба. Там, среди серебряных листвьев, вдруг мелькнула алая ленточка. Или показалось? Конечно, показалось.

Сел на скамейку рядом с крохотной детской площадкой: песочница в ладонь, горка, качели, всё ненастоящее, из пластмассы ядовитых, нарочито весёлых цветов. Прислушался.

Из-за глухих тройных стеклопакетов во двор не проникало ни звука. Не бралились хозяйки на кухнях коммуналок, не шкворчали сковородки с вечной яичницей. Патефоны и репродукторы давно выброшены на помойку.

Не кричали в форточки матери, зовущие обедать детей, исчез дощатый стол, за которым пенсионеры громко спорили про Данцигский коридор и шептались по поводу ареста профессора из двадцатой квартиры.

Конрад прикрыл глаза, бессильно уронил руки.

Чужой дом. А был ли свой? Или привиделся в многолетнем бреду ледяного плены? Тополь, ворона Лариска, строгая бабушка, закадычный друг Серёжа – неужели всё это лишь плоды искалеченного воображения?

В кроне тополя возились птицы, роняя вниз мелкий мусор. Волновались, хрипло каркая.

Конрад очнулся. В кустах кто-то хныкал. Раздвинулись ветки, и на площадку вылезла девочка лет семи: перемазанное нарядное платье, в светлых волосах – сухие палочки и ещё какая-то чепуха, ободранные коленки. Она капала слезами в сложенные лодочкой ладони.

– Вот, – протянула Конраду ладошки. – Он умер. Упал из гнезда, наверное.

Анатолий поморщился. Бестолковый детёныш. И уродливый птенец: голая синюшная кожа с едва пробивающимися перьями, закрытые бледными веками глаза, страдальчески изогнутий клюв с жёлтой окантовкой.

– Зачем ты эту дрянь в руки взяла? Сдох он, всё.

Девочка испуганно посмотрела на взрослого, у которого искала помощи. Запрокинула голову (мусор посыпался на платье) и зарыдала в голос.

– Не ори. Давай сюда.

Положил трупик в левую руку, накрыл правой. Сосредоточился.

Жизнью можно поделиться. Если уметь. Если занимал её когда-то, а теперь настало время вернуть часть долга.

Птенец дёрнул непропорционально большой головой, приоткрыл мутные глазёнки.

– Забирай. И прекращай реветь, не люблю.

Девочка кивнула:

– Не буду, дяденька. Ты волшебник? А я Настя.

Чёрно-серые птицы продолжали каркать, но теперь уже с явным одобрением.

Он пробормотал:

– Я не знаю, кто я.

Самая смелая ворона слетела пониже. Села, крепко обхватив когтями ветку. Наклонила голову и внимательно посмотрела на Конрада.

8. Бабушка

Ленинград, декабрь 1939

Ворона переступила по жёрдочке. Наклонила голову и внимательно посмотрела на Толика. Проворчала:

– Горрох! Прраво, дрянь.

Бабушка усмехнулась:

– Ты уж определись, дорогая: горох дрянь или твоё любимое лакомство?

Ворона Лариска замолчала, озадаченная.

Серёжка Тойвонен тоже молчал, явно напуганный. Толик подтолкнул приятеля:

– Ну, чего ты хлюзишь? А ещё сын красного командира! Дай ей гороху-то.

Серёжка шмыгнул и протянул ладонь с тремя желтыми кругляшами.

Лариска оживилась. Ткнула клювом, задрала голову, проглатывая вкуснятину. Серёжка засмеялся:

– Щекотно.

Третью горошину ворона есть не стала. Взяла, взмахнула крыльями, взлетела на шифоньер.

Тётя Груша, мама Серёжки, восхитилась:

– Вот ведь животина какая умная!

Бабушка возразила:

– Горох лопать – много ума не надо. Ей уже десять лет, а говорить так толком не научилась, две дюжины слов, и все невпопад. Лариска и есть, недаром в честь Рейснер названа.

– А кто это, Софья Моисеевна?

– Да была одна такая, девица ветреная и бесполковая во всех отношениях. Ты, Агриппина, пьесу Вишневского «Оптимистическая трагедия» имела счастье смотреть?

– Да, – обрадовалась Груша. – Муж водил в концерт, на октябрьские праздники. Там ещё комиссарша своё тело морячкам предлагает.

Бабушка всплеснула руками, рассмеялась:

– Вот он, глас народа! Точнее и не скажешь. Лариска и была прототипом той комиссарши, с предложением тела у неё не задерживалось. Может, и плохо так про покойницу, но царствия небесного я ей желать не буду, ибо бога нет, как и его царствия.

Груша испуганно дёрнула правой рукой, словно хотела перекреститься.

– Может, зря вы так про неё, Софья Моисеевна? Всё-таки большевичка, героиня, получается, нашей славной истории.

Бабушка поморщилась:

– Милочка, я ведь историю, в отличие от тебя, не по «Краткому курсу» изучала. Я её делала, вот этими руками. Давайте лучше пить чай.

Бабушку Софью побаивался весь дом, даже грозный дворник дядя Ахмед. Однажды упившийся в хлам жулик Свищ, отмечавший удачный гол-стоп, порезал собутыльников. А потом выскоцил во двор с окровавленной финкой, базлая что-то невразумительное, но грозное. Доминошки брызнули от своего стола шрапнелью. Жутко заголосили женщины, Толик, тогда ёщё совсем малец, замер в песочнице с лопаткой в руке. Свищ хрюпел, пуская слюни на разорванную рубаху, таращил белки, выплёвывая страшные слова:

– Попишу. Суки все, амба вам пришла.

Казалось, дрожал весь двор – и сараи, и деревья, и серое небо. Толик смотрел на шатающегося жулика и чувствовал, как становятся горячими и мокрыми штанишки.

Бабушка появилась неожиданно. Встала между Толиком и Свищом, уперев руки в бока. Гаркнула:

– А ну, хорош бакланить, падло. Брось перо.

Жулик остановился. Выставил нож, забубнил:

– Ты чё, кобёл, я тебя…

Бабушка молча ударила кулаком в центр мятого лица. Свищ выронил финку, сел на задницу и схватился за потёкший юшкой нос, подывая.

Так и сидел, пока не прибежали запыхавшиеся постовые, за которыми прятался растерянный дворник со свистком во рту.

Происшествие только укрепило непререкаемый бабушкин авторитет. Вспоминая этот случай, она смеялась:

– За шесть лет на царской каторге и не таких мазуриков видала.

Иногда приходили в гости старые бабушкины подружки, строгие женщины с седыми хвостиками. А во дворе Софья Моисеевна ни с кем близко не сходилась, только с соседкой снизу, женой красного командира Тойвонена.

– Агриппина, ешь варенье. Крыжовниковое, вкусное. Сама варила, на даче.

Тётя Груша загребла варенье из хрустальной вазочки столовой ложкой. Потом громко прихлебнула чай из блюдечка.

Бабушка снова поморщилась:

– Агриппина, что у тебя за привычки, право слово! Ты должна быть примером в культуре поведения, как супруга красного офицера.

– Скажете тоже, – Груша закашлялась, замахала руками. – Какой же офицер? Последних офицериков в двадцатом постреляли, так туда им и дорога, буржуям.

– Скорее, дворянам. Хотя и разночинцев хватало.

Бабушка достала папирюску, стала разминать сильными пальцами. Прикурила, сломала спичку в пепельнице.

– Офицеры, милочка, были не только примером служения, но и образованными людьми. И то, и другое было бы полезным для новой пролетарской интеллигенции. Так. Анатолий, Сергей, вы чаю попили? Идите играть.

Серёжка притащил с собой удивительную книжку с толстыми картонными страницами, яркими рисунками. Картинки обладали волшебным свойством: если поставить книжку на попа и раскрыть страницы, то они, прорезанные по контуру, выдвигались, становились объёмными. Вот рыцарь, наглухо закованный в сталь, скакет на вороном коне, а вот – принцесса в невиданном пышном платье, с грустными голубыми глазами, золотыми волосами и розой в руке. Понять, про что книжка, было невозможно – буквы незнакомые, смешные, с точками и чёрточками над гласными. Её прислал старший Тойвонен из заграничного Таллина, где служил сейчас.

– Наверное, этого пса-рыцаря дожидается, – предположил Серёжка.

– Точно! А наши его на Чудском озере поймают – и под лёд, как в кинокартине!

– И поделом ему, фашисту! – захохотал Серёжка.

– Я три раза на «Александра Невского» ходил, – похвастался Толик.

– А я – четыре. Жаль, не показывают больше.

– Помнишь, наш ка-а-ак рубанёт мечом, и рог у фашиста с башки долой!

Толик замахал руками, наглядно показывая, как иностранный захватчик лишился грозного украшения, и нечаянно зацепил статуэтку Дон Кихота. Чугунный борец с мельницами упал с тумбочки вместе с верным Росинантом, производя невообразимый грохот.

– Вы что там балуетесь? – крикнула бабушка из соседней комнаты. – Шюцкоровцы малолетние! Идите на улицу хулиганить.

Когда торопливо обувались в прихожей, Серёжка шёпотом спросил:

– Как думаешь, а у рыцарей рога прямо из головы растут? Или только на шлеме?

– На шлеме, – авторитетно ответил Толик. – Потому что если на голове, то и шлем на башку не натянуть. Рога мешать будут.

9. Странности

Город, лето

Кондиционер в офисе Дьякова был близок к смерти от истощения сил. Июль выдался чудовищно жарким.

Лысина, толстая шея, багровое лицо клиента были облеплены капельками пота, как сумочка его спутницы – стразами. Заказчик уперся толстыми короткими пальцами в столешницу, угрожающе нагнул голову, словно бык, выискивающий у матадора место помягче.

– Чё за ботва? Какой ещё олень? Это чтобы пацаны засмеяли: Вован у нас олень? Ты бы заодно петуха пририсовал, умник. Ещё и с палкой в жопе.

Хрупкий Макс в майке «милитари», не придающей ни капли мужественности, откинулся на стул, сложил тонкие руки на груди защитным жестом.

– Прекрасный геральдический символ. Вы же сами сказали, что по отцовской линии из донских казаков, а белый олень, пронзённый стрелой, – их тотем с допетровских времён. Это стрела, а не палка.

– А цвет голубой почему? Чё за намёки?

Макс умоляюще посмотрел на шефа:

– Игорь Анатольевич, объясните вы ему.

Дьяков кивнул:

– Всё верно, лазурь символизирует красоту, мягкость, верность, честь, величие...

– Чё?! – багроворожий начал подниматься из-за стола. – Какую, мля, красоту и мягкость?!

Помощь пришла откуда не ждали. Подруга заказчика с вывороченными, словно атакованными пчёлами, губами, вступилась за историков:

– Котик, но ведь это НАШ герб. Конечно, красота. И ты на самом деле у меня добрый и мягкий. В душе. На самом донышке.

Котик хмыкнул. Хлопнул спутницу широченной ладонью по ботоксной ягодице – звук получился резкий, будто воздушный шарик лопнул.

– Ладно, киса. Берём. Заверните. Только ещё шлём добавьте рыцарский с рогами, я такой в кино видел. Типа, мы не из мужиков, а из бойцов.

В переговорную заглянула Елизавета:

– Извините, пожалуйста. Шеф, там неотложное дело.

Николай звонил на офисный номер, а не на мобильный, что уже было странным. Говорил тихо и сбивчиво:

– По последней твоей просьбе, родное сердце. Такие дела. Встретиться надо, есть вопросы.

– По последней, м-м-м? По реабилитированному? Как его, Арзумяну? Или...

– Нет, не гадай. Встречаемся через пятнадцать минут. Не где обычно, а рядом, номер дома – как калибр самолётной пушки, про которую мы с тобой спорили недавно. Отбой.

– Всё в порядке, Игорь Анатольевич? – Елизавета крутила в тонких пальцах карандаш.

– Что-то он темнит. Страхуется от подслушки, опять мы, видать, не туда влезли – как тогда, когда про дедушку мэра случайно накопали... то, что накопали. Ладно, я пошёл.

– Не забудьте, через час у вас встреча. С Конрадом.

– Помню. Держитесь тут. Занимайте круговую оборону.

* * *

Николай Савченко был загадкой, которую не хотелось разгадывать. В настоящем – пенсионер, использующий прежние связи для скромного дополнительного дохода, а в прошлом – сотрудник спецслужбы. Какой именно, в каком звании – неизвестно. В начале знакомства Игорь пытался было выяснить, но приятель лишь многозначительно молчал, и тема закрылась сама собой. Дьякова вполне устраивало, что Николай умел добывать любую информацию из самых засекреченных архивов и брал за неё весьма разумные деньги. Какая разница, как ему это удавалось?

Игорь дошёл до дома номер тридцать семь (именно столько миллиметров имел калибр пушки американской «Аэрокобры»), прошёл через ободранную арку и обнаружил знакомца на скамейке в тихом дворе. Савченко в любую погоду ходил в сером костюме, застиранной рубашке и засаленном галстуке. Да и весь он был среднестатистический, неприметный.

– Привет, Коля. В кафе пойдём?

– Нет. Тут.

Николай достал замызганный платок, вытер вспотевшее лицо, Игорь посмотрел с сочувствием:

– Не жарко тебе в пиджаке?

– Ничего, привыкший. Я по твоему запросу на Конрада. В списках граждан Израиля, получивших даркон, так у них называют загранпаспорт, человек с таким именем не числится...

– То есть документ поддельный?

– Не перебивай. Документ самый что ни на есть подлинный. Но данные на владельца заблокированы. В закрытой базе – и заблокированы. То есть, например, сотрудник «Моссада» их получить не может.

Игорь промолчал, морща лоб.

– Не брался бы ты за это дело, Анатольевич... По дружбе советую.

– Во как, – растерялся Игорь. – Да мы только начали. Блокадный ребёнок родственников ищет, пытается правду выяснить, помнит только обрывками. Видимо, пережил травму, связанную с потерей памяти. Какой тут криминал?

– Не криминал, Анатолич, не криминал. Что-то похуже. Документы в реестрах числятся, а по факту – отсутствуют. И выписки из домовой книги, и петроградский ЗАГС. Да вообще, – Николай понизил голос, почти зашептал: – Даже в архиве по нашему ведомству пусто. Ни про отца, ни про бабку. А бабка у него непростая была, отец по вавиловскому делу проходил. Такие бумаги вечно хранятся, а их нет. Ну, понимаешь...

– Не понимаю. Утеряны, что ли, документы?

Николай поморщился, будто хотел чихнуть:

– Ты что, родное сердце, у нас ничего не теряется. Изъяты. Аккурат в пятьдесят втором, по распоряжению сверху. С самого верху.

– Скажи ещё, что сам председатель КГБ распорядился, – усмехнулся Дьяков.

– Выше бери.

Дьяков перестал улыбаться.

– Куда выше-то?

– Был такая секретная служба при ЦК партии. Даже у нас никто толком не знает, чем она занималась. Одни нелепые слухи, то про наследие Чингисхана, то про этих, как их... рептилоидов.

Дьяков внимательно посмотрел на собеседника.

– Мы с тобой сколько знакомы, лет восемь?

– Девять лет, два месяца и восемь дней, – быстро ответил Савченко. – А что?

– А то, что от тебя чего угодно можно было ожидать, кроме чувства юмора. Что ещё за шутки про рептилоидов?

– Много вы понимаете, гражданские, – махнул рукой Николай. – Ты хоть в курсе, почему данные анализа ДНК товарища Ленина засекречены?

– А они засекречены?

– Ладно, родное сердце. Меньше знаешь – чище моча. Спрашиваю во второй и последний раз: отказываешься от этого дела? От Конрада?

– С какого перепугу? Ты ничего толком не объяснил. Он, конечно, человек специфический, какая-то тайна за ним явно чувствуется, иногда даже оторопь берёт. Но так ещё интереснее.

Николай поморщился и погладил левую сторону груди.

– Человек, говоришь, необычный? Ну да. Конечно, человек. Кто же ещё? Не ангел же небесный и не демон. Ладно. Пусть катится, куда катится.

Савченко поставил на колени древний портфель. Щёлкнул латунным замком, порылся, достал папку и тонкую пачку купюр.

– Вот. Всё, что удалось достать из документов, мало, но, может, и пригодится. И аванс. Возвращаю.

– Погоди, – Игорь схватил приятеля за рукав. – Ты чего испугался? И деньги забери, ведь сделал какую-никакую работу.

Савченко стряхнул его пальцы аккуратно, как насекомое.

– Я не знаю, как это сформулировать. Но чувствую – нельзя в это дело лезть. Костным мозгом чую, что страшное дело, тёмное. И тебе не советую, родное сердце, мне тут один старый товарищ, Аксолотль его прозвище… Двадцать пять лет не общались. Вдруг – появляется. Всё намёки, хиханьки. Но я догадался: пытаются через меня выйти на того, кто Конрадом интересуется. Я, конечно, дурака включил, не раскололся. И не потому, что мы с тобой девять лет… Знаешь, когда эти ребята прижмут, и маму сдашь с потрохами, и дитя родное на органы. Обида у меня на него, в перестройку новая тема была, тебе не понять. Словом, избранные товарищи всё заранее знали, а может, и сами поучаствовали в процессе. Но себе соломки успели подстелить, жрали потом лобстеров по заграницам. А таких, как я – на пенсию, тысячами, несмотря на заслуги. Я вот два раза нелегалом… В фавелах этих отбросами питался. Кровь сдавал, чтобы пожрать нормально, гнилые бананы воровал. А дело своё сделал от и до, и к ордену меня заслуженно представили. Ладно.

Савченко резко поднялся. Проигнорировал протянутую для прощания руку.

– Не ищи меня, Игорь, все записи почисти. И телефонный номер сотри. Иначе они на тебя выйдут и выяснят всё. А потом тебя самого вычистят и сотрут, до третьего колена.

– Чего выяснят? Я не знаю ничего.

– Эти люди умеют. Расскажешь то, чего не было. А конец всё равно один. Прощай.

Дьяков растерянно смотрел в спину бывшего партнёра. Серая фигурка всосалась в тёмную пасть арки – и исчезла, как проглоченная.

* * *

– Елизавета, слушай внимательно, не называй имён. Когда подойдёт тот, кому назначено, отправишь его в кафе, где я тебе впервые про Георгия Цветова рассказывал.

– Э-э-э, про Цветова, помню, да. Вы про Конра…

– Елизавета! Не называй имён, говорю. Я уже на месте, жду.

Дьяков выключил телефон. Подцепил ногтем крышку, вытащил зелёный квадратик симки, начал нервно озираться.

В кафе было почти пусто. Только фриковатая девица с дорогим фотоаппаратом – обритая наголо, от чего и так большие глаза казались просто огромными – прихлёбывала кофе из кружки, уставившись в смартфон. Оторвала взгляд от гаджета, посмотрела на Дьякова – странно, внимательно, будто измеряя. Или – сравнивая с фотографией на стенде «Их разыскивает полиция». И снова уткнулась в фотоаппарат.

Дьяков подумал: «Бред. Паранойя. Кому я нужен? Кому нужен он, несчастный пенс с провалами в памяти?»

Засунул на место симку, пробарабанил нервными пальцами по столешнице. Стариk, конечно, не простой, обычная, казалось бы, история с восстановлением родословной приобретала черты мрачной тайны. Граната с вырванной чекой, которую лучше не трогать, а пройти мимо на цыпочках – пусть лежит.

На пороге кафе возник Конрад. Осмотрелся, подошёл, присел. Лицо, как всегда, невозмутимое. И наглоух застёгнутый светлый плащ – в такую жару.

– Какие новости?

Дьяков кашлянул. Сложил пальцы в замок, нервно спросил:

– Вас не удивляет, что я перенёс встречу сюда?

– Вам виднее. Может, у вас ланч. Или сиеста, – Конрад безмятежно откинулся на спинку стула. – В одной жаркой стране днём у всех перерывы на неспешные разговоры. Сидят в тенёчке, кофе пьют из крохотных чашечек. Правда, они это называют не «сиестой», они и слова такого не знают. Я там долго жил. Вернее, хранился.

– В смысле?

– А вот как картошка в овощехранилище. Или экспонат в музее. Лежит под стеклом, думает о своём. Мимо люди толпами, а он лежит. Вспоминает. Вернее, пытается.

Игорь растерянно молчал.

– Чёрные горы. Серые дома. Глина, обожжённая солнцем до крепости гранита. И – пыль кругом. Древняя пыль. Извечная. В газетах будто не буквы, а мелкие насекомые. Червячки. Ползут безостановочно, вцепившись крохотными зубами в хвост соседа.

Дьяков гладил пальцами стакан с теплеющей водой. Слушал.

– Время там густое, тягучее, как сироп. Люди в него падают, словно мошки – и всё. Поболтают лапками и замирают. Мимо грохочут века подкованными сапогами, ревут реактивными двигателями. А люди-мошки лениво посмотрят – и дальше дремлют. Хорошо.

Игорь слушал – и будто уплывал куда-то. Едва пошевеливая лапками. Боясь спугнуть откровение, тихо спросил:

– Если там так хорошо – зачем приехали?

– Значит, время настало, – просто ответил Конрад.

Подтянулся, сверкнул льдинками зрачков:

– Что по моему делу? Новости?

Игорь провёл ладонью по лицу, стирая наваждение.

– Я не смогу ничего сделать, если вы не будете до конца откровенным. В деле возникли неожиданные сложности. Мой постоянный осведомитель отказался сотрудничать. Более того, он напуган, чего за ним никогда не водилось. Что вы скрываете?

Конрад улыбнулся – одними губами.

– Вам по порядку перечислить? Знаете ли, от мотылька никто не скрывает формулу ядерной реакции. Мотылек её просто не поймёт.

– А вы на редкость деликатны. Зачем же тогда обратились к безмозглому насекомому?

– Не обижайтесь. Мои слова – скорее, форма защиты. Невозможно скрывать то, чего не знаешь наверняка. Мне трудно разобраться, что в моей истории было на самом деле, а что – галлюцинации. Можете конкретнее сформулировать вопрос?

Игорь не ответил. Замерев, смотрел, как через зал к ним решительно идёт бритоголовая девушка, держа в отставленной руке тяжёлый чехол фотоаппарата.

Успел прошептать:

– Как глупо...

10. Папа

Ленинград, март 1940

Книжку Льва Кассиля «Черемыш – брат героя» прочли по три раза. И решили, конечно же, стать лётчиками.

Но в военлёты сразу не берут. Серёжка узнавал: сначала надо в кружок авиамоделизма, потом в аэроклуб, и уж после аэроклуба – в кабину самолёта-рекордсмена, штурвал круить. Эх, жаль, Валерий Чкалов геройски погиб при испытаниях нового аппарата, не дождался таких славных помощников...

В кружок авиамоделизма Толика и Серёжку Тойвонена не взяли. Сказали приходить, когда в пионеры примут. А пока малы, не годятся для ответственного дела – клеить модели с красными звёздами на крыльях.

Толик хотел даже зареветь (в спорах с мамой это иногда помогало), но увидел, как друг тоже хлюпает носом. Собрался и басом проворчал:

– Ну, развёл сырость... Ты же сын красного командира! Он там на войне, белофиннов бьёт, а ты хнычешь, как девчонка.

Выпросили у сердитого руководителя кружка старый журнал с чертежами. В коридоре Дома пионеров увидели валяющиеся грудой рейки и рулон промокшей папиросной бумаги.

– Давай стащим, – предложил Серёжка шёпотом.

– Нельзя, это получится воровство, – сурово сказал Толик. – Октябрятам так не годится. Подожди-ка.

Вернулся, постучал несмело в дверь кабинета, просунул голову:

– А там у вас мусор в коридоре. Разрешите, мы поможем, выбросим?

Дядька в выгоревшей гимнастёрке подобрел, кивнул:

– Добро. Вот это молодцы, хвалю. Вынесите на помойку. Так уж и быть, приходите осенью, может, сделаем для второклассников исключение.

Разложили добычу на каменных ступеньках заднего, заколоченного крыльца. Рейки были сплошь порченые, расколотые да поломанные – потому и выкинули. Занозив руки и изрядно продрогнув (март в сороковом году выдался сумрачным и холодным), отобрали ворох более-менее годных.

– Ничего, не хлюзи, – сказал Толик. – Подклейм, нитками обмотаем, будут как новенькие. Сгодятся на самолёт.

– И бумагу просушим, – подхватил Серёжка. – Только аккуратно надо разматывать, чтобы не порвать, она тонкая, зараза. А клей где возьмём?

Толик не знал, где брать клей, но признаваться не стал. Сплюнул сквозь дырку на месте выпавшего зуба, подражая Вовке – главному дворовому хулигану.

– Добудем. По-честному.

* * *

По-честному не вышло. Попросили у дворника Ахмеда, а тот зол: кто-то спёр из дворницеей самовар. Сидит теперь Ахмед, ругается по-татарски: замучался на морозе ломом да лопатой махать, лёд во дворе убирать, а тут чаю не выпить, не погреться. Прогнал, про клей и слушать не стал.

Толик расстроился:

– Ну вот, не будет у нас самолёта.

– Почему же не будет? – шмыгнул озябший Серёжка.

– А чем клеить? Соплями твоими?

Пошли было домой, но у подвальной двери встретили Вовку-хулигана. Весёлый, раскрасневшийся, водкой пахнет. Кричит:

– Алё-малё, дефективные, дуйте сюда шибче!

Ребята подошли с опаской: Вовка со взрослыми жуликами знается, даже со Свищом. Может и обидеть, деньги отобрать. А то вдруг добрый: один раз ножик подарил перочинный, хоть и поломанный – всё равно зыкий.

– Песенку знаете?

*На майдане жмурики,
Прячутся мазурики:
Всё лютует губчека,
У Урицкого – тоска...*

Песня ребятам не понравилась, другое дело про Конармию! Про Каховку, родную винтовку. Но возражать побоялись.

– Аля-улю, гужуемся нынче: у бабая самовар подрезал да загнал за червяка. А вы чего смурные?

Толик объяснил про самолёт. Вовка рассмеялся:

– То не драна для жигана! Достану вам казеинки.

– Вот спасибо! – обрадовался Толик.

– За спасибо и жучка не ляжет. Капуста имеется?

Серёжка удивился:

– Так на кухне, два кочана. А тебе зачем?

– Ну вы фраера, – захотел Вовка. – Ладно. Папиросы есть дома?

– У меня нет, – замотал головой Серёжка. – Батя на войне, а мамка не курит.

– У моей бабушки Софьи Моисеевны должны быть, – признался Толик. – Я могу попробовать. Это. Взять, ну, без спроса.

Толику было страшно произнести НАСТОЯЩЕЕ слово, обозначающее то, что он собирался сделать. Слово это было «украсть».

– Бабка у тебя козырная, – поёжился юный жулик. – Гляди, ноги не замочи. Пять папирос – банка казеинки. И это, про самовар не слягавьте кому. Попишу.

По ступеням Толик поднимался еле-еле. Серёжка смотрел на друга с восхищением, а у того горели щёки: воровать ещё никогда не приходилось. Тем более – у родной бабушки.

* * *

Банку с клеем Толик спрятал в родительском шкафу. Там, под вешалкой с шубами и пальто, стопками были сложены папины журналы «Вестник ВАСХНИЛ» и ещё, на иностранном языке, вот за журналы и спрятал. А то если бабушка спросит, откуда клей, Толик точно признается.

Серёжка простудился. Тётя Груша заругалась:

– Сил нет с тобой, вредителем малолетним! Опять шатался весь день, нет бы, уроки учил. Вот отец с войны вернётся, первым делом надерёт тебя ремнём. Марш в кровать!

Толик сидел в большой комнате, где они жили с папой и мамой. Комната угловая, просторная, с широкими окнами. У бабушки меньше. Одна живёт и пускает к себе неохотно. А там очень увлекательно: портрет дедушки в красноармейском шлеме, настоящая сабля на стене висит, её дедушке вручил сам Тухачевский, об этом на латунной табличке есть слова, а табличка к эфесу привинчена, но бабушка об этом велит никому не рассказывать. И ещё много фотокарточек: какие-то дядьки и тётки в древних дореволюционных нарядах, по двое и боль-

шими группами. Есть и времён гражданской: у паровоза, и под плакатом «Партийная конференция Петроградской кавдивизии». Одна карточка хранится в комоде, под праздничной скатертью, на ней трое: бабушка совсем молодая, с короткой стрижкой, с тяжёлым маузером в большой деревянной кобуре, дедушка с орденом Красного Знамени и дядька в круглых очках, с бородкой клинышком. Про эту фотографию тоже нельзя никому рассказывать, потому что на ней какой-то «Лев Давидыч».

Ещё в комнате стоит огромный шкаф из тёмного дуба. Раньше здесь жил царский флотский офицер, один во всей огромной квартире! Теперь её разделили перегородкой, и получилось две: в одной живут Горские, а во второй, коммунальной, четыре семьи. Бабушка говорила, что офицера «пустили в расход». Что это значит, доподлинно было неизвестно. Толик думал, что офицера потратили, как бензин из топливного бака самолёта, чтобы мотор работал, непонятно только, как можно человека потратить, даже если он белогвардейская сволочь. А Серёжка сказал, что «в расход» – значит, всё. Расстреляли.

Всю офицерскую мебель из квартиры конфисковали, унесли в домком и красный уголок, но шкаф сдвинуть не смогли, больно уж тяжёлый. Шкаф украшен резьбой: здесь и дельфины, и якоря, и морские волны с барашками. А наверху – парусник, рвёт волны острым, как нос Буратино, бушпритом, птицы-паруса раздуты пузырями. Раньше, до красвоенлёта, Толик хотел стать моряком. Если бабушка разрешала играть в её комнате, то мог часами разглядывать резьбу и мечтать:

– Свистать всех наверх! Обтянуть такелаж! Приготовиться к повороту фордевинд...

Весёлые матросы ловко скачут по мокрой палубе, ветер швыряет горстями брызги в лицо, а Толик, в белом мундире и капитанской треуголке, смотрит в подзорную трубу, ища среди громоздящихся волн вражеский фрегат...

Здоровско было мечтать о море! Толик даже иногда жалеет, что он теперь лётчик. Хотя можно ведь стать морским лётчиком? Тогда будет всё разом: и синее небо, и синее море, и полёты наперегонки с краснолапыми чайками.

Вместо чайки у бабушки живёт ворона Лариска. Клетка стоит на столе, всегда отпёртая: Лариска пользуется свободой и гуляет по всей квартире. Смотрит, кто чем занят. Она не любит закрытых дверей: если увидит – подойдёт и начнёт лупить клювом, чтобы открыли. За это папа называет её «ревизором», а бабушка – «эскадронным старшиной».

Толик разложил на столе подаренный строгим дядькой из Дома пионеров журнал, стал водить пальцем по тонким линиям чертежей, но быстро запутался и расстроился. Может, папа поможет? Он сейчас у бабушки, они заперлись и о чём-то говорят целый час.

Только подумал – дверь бабушкиной комнаты скрипнула, открылась. Папа сердито сказал:

– Хватит долбить, дырку пробьёшь. Иди, гуляй.

В коридоре зацокали коготки: значит, Лариска отправилась на обход. Зашла к Толику, наклонила голову, проскрипела:

– Дрррянь, иррод.

– Сама ты дрянь. Дура.

Удивилась. Помолчала. Спросила совсем другим тоном:

– Друг? Горрох?

– Подлизь ты, Лариска. Правильно тебя бабушка Бухариным обзывают.

– Бухаррин – трроцкист! Прраво, дрянь! Горрох?

– Всё, всё, хватит орать, сейчас принесу.

Толик сходил на кухню, взял из жестяной банки горсть, высыпал горошины на пол перед вороной. Лариска одобрительно глянула блестящим глазом, застучала клювом по паркету.

Посмотрел на чертёж, вздохнул. Взял журнал, пошёл к бабушке.

Дверь осталась приоткрытой, и бабушка вдруг сказала громко:

– Илья, прекращай это слюнтяйство! Изволь определиться, с кем ты. Что за интеллигентские сопли, тыфу!

Толик замер: бабушкин голос был злым.

– Мама, вы не понимаете. Эта яровизация, обзывания «вейсманистами-морганистами»... Просто антинаучный бред! Гены не могут быть буржуазными или пролетарскими, поймите. Они были, когда никакого Маркса ещё не было. И будут, когда и память о нас исчезнет.

Бабушка молчала, яростно чиркая спичками. Спички ломались. Одна всё-таки выдержала, зажужжала огнём.

– Илья, у тебя жена и ребёнок, ты обязан взвешивать поступки. Наш путь – трудный. Ещё никогда человечество не строило коммунизм, мы – первые. Да, могут быть ошибки, потому что наощупь, часто по наитию, понимаешь? Чего ты добьёшься, если выступишь сейчас против Лысенко? Да и молод ты ещё, не академик. Ленин учил: шаг назад, два шага вперёд, надо переждать. Был бы жив твой отец...

– Был бы жив отец, он бы меня поддержал, – резко перебил папа. – И вообще, ему повезло умереть вовремя.

– Что-о?! Что ты несёшь?

– Да. Признайтесь, мама, что так и есть. Если бы он не умер в тридцать четвёртом, то разделил бы судьбу... Только сначала сказал бы этим тупицам всё, что думает. Что стало с вами, мама? Вы же ничего не боялись, пятнадцатилетней девчонкой в городовых стреляли, в Сибири не сгинули, по фронтам... Меня взяли в сыновья – вам сколько было тогда? И не испугались ведь! Что стало с маузеристом Соней, с Железной Горской? А со всеми нами? Дрожим, боимся – и кого? Малограмотных подонков. Воспитанием растений он занимается, идиот, осталась картошке политинформацию ежедневно читать, чтобы впятеро урожайность повысить. Яровизация! Средневековые! Ананасы в тундре, бананы на вечной мерзлоте! Мне нестерпимо, ужасно, стыдно кивать этому бреду. А вам, мама? Вам за меня не стыдно? Позор!

– Позоррр! – тут же откликнулась Лариска.

Толик молчал. Он никогда не слышал, чтобы папа так кричал на бабушку. Да и вообще, чтобы кто-нибудь смел повышать на неё голос.

Тишина – страшная, предвещающая беду, – затопила коридор. Толику вдруг стало трудно дышать. Выронил журнал и сполз по стенке на пол.

Бабушка заговорила совсем тихо:

– Илюша, сынок, умоляю тебя, послушайся Вавилова, езжай в командировку на Памир. Он мудрейший учёный, гений, мировое имя, ты ведь сам об этом говорил, плохого не посоветует. Поезжай, родненький, а тут пока всё уляжется, забудется. Разберутся, в конце концов. Время всех по жёрдочкам рассадит, как надо. Илюшенька... Хочешь, я вот сейчас на колени?

Толик с ужасом понял, что бабушка плачет. Вскочил, бросился к двери, распахнул, оттолкнул растерянного отца, закричал:

– Не смей её обижать!

Уtkнулся в бабушкин живот, зарыдал.

Бабушка непривычно гладила Толика по голове жёсткой ладонью, шептала:

– Ну что ты, маленький, папа меня не обижает. Просто он правду любит, таким уж я его вырастила, дурака.

– Дуррак! – радостно подтвердила Лариска.

11. Белка

Город, лето

Мысли в голове грохотали мелкие и никчёмные, как дробь в консервной банке, сердце тоже молотило вразнос. Пока бритоголовая с чёрным чехлом в отставленной руке пересекала пустой зал кафе, Игорь успел подумать, что всё, и ещё – что так и не решил ничего с Елизаветой.

Конрад почувствовал смятение визави, резко развернулся навстречу опасности. Девушка остановилась и неожиданно улыбнулась. Протянула ладошку – пустую. Ни пистолета, ни ножа.

– Извините, что отвлекаю. Я Белка, фотограф.

Конрад поднялся, осторожно пожал крепкие пальцы, поклонился:

– Весьма польщён. Я Анатолий Горский, а это – мой добрый знакомый…

Игорь, разозлившийся на свои дурацкие страхи, перебил:

– Не помню, чтобы белки, суслики и прочие насекомоядные прославились на ниве фотографии. Что тебе нужно, девочка? Видишь же – взрослые дяди разговаривают.

Конрад посмотрел укоризненно, отодвинул стул, пригласил:

– Украсьте нашу замшелую кампанию. Позвольте угостить вас. Кофе?

Девчонка, ни капли не смущившись, мгновенно ответила:

– Двойной капучино, с карамелью.

Конрад пошёл к стойке. Белка крикнула вслед:

– Это… спасибо!

Игорь, всё ещё чувствуя раздражение, сказал:

– С воспитанием явный пробел. Ты всегда лезешь к незнакомым мужчинам? Не находишь это навязчивым?

– А ты всегда говоришь «ты» незнакомым девушкам? – парировала глазастая. – Не находишь это невежливым? И вообще, расслабься, ты мне неинтересен. Терпеть не могу таких: рубашечка беленькая, запонки фирменные, проборчик безукоризненный, а внутри – ноль. Зироу.

Дьяков аж замер от такого нахальства. Пока соображал, чем покрыть, вернулся Анатолий.

– Сейчас принесут ваш двойной с карамелью. Весьма польщён вниманием со стороны столь прелестной и, м-м-м, свежей особы. Чем мы с другом можем быть вам полезны?

«Ё-моё, Конрад её kleит, что ли?» – поразился Игорь.

– Ваш друг вряд ли, он ординарен, а вот вы… У вас удивительное лицо. Крайне интересное.

– Ну что вы, обыкновенное лицо пожившего человека.

«Да он краснеет! – мысленно присвистнул Дьяков. – Надо же, пушистый зверёк смущил нашего рыцаря мрачного образа».

– Нет, не обыкновенное, – нетерпеливо взмахнула рукой Белка. – Иначе с какого перепугу я бы бросила онлайн-конфу и понеслась к вашему столику? Мы готовим проект «Лики Города», а вы очень даже годный, фактурный тип. Я вообще считаю, что у стариков лица интереснее, чем у молодых. Каждая морщина, трещинка, пигментное пятно – как рана, нанесённая временем, понимаете? Шрам от удара клинком. Старики – они клёвые!

«Вот так-то, съел! – хихикнул про себя Игорь. – Пёрышки распустил, да забыл, что срок эксплуатации оперения вышел. Весь в шрамах, нанесённых косой. А в чьих руках коса – мы знаем».

Он смотрел в окно на мельтешащие машины и краем уха слушал, как Конрад договаривается с Белкой насчёт фотосессии.

Думал о том, что страхи часто оказываются глупыми. И надо постоянно работать – мозгами, душой, нервами – чтобы не уступить, не размазаться, не превратиться в комок бесформенной слизи под колёсами чужих механизмов. Хрен им, а не сдача бастиона. И напуганному неизвестно чем Савченко, и таинственным теням в подворотнях, и странным тайнам прошлого.

Прорвёмся.

12. Сталинский дракон

Ленинград, май 1940

Последний школьный день перед каникулами тянулся, как резинка от трусов. Уже раздали табели успеваемости (у Толика «хорошо» по чистописанию, остальное «отлично», а у Серёжки – сплошь «посредственно»), так чего ещё? Но классная учительница теперь диктовала список литературы на лето.

Серёжка поскрёб пёрышком по дну опустошённой «непроливайки». Подул на перемазанные чернилами уставшие пальцы, толкнул друга локтем:

– Скорей бы уже, да? Сегодня запустим «Сталинского дракона»!

Толик чертыхнулся: от толчка рука поехала, и у «Чука и Гека» ножка последней буквы «к» убежала за край страницы.

– Ты чего, пихаешься, балбес? Не потерпеть?

Учительница опустила очки на нос. Постучала линейкой по столу:

– Кто там болтает, а? Тойвонен, Горский! Кто вам разрешил вместе сесть? Думаете, коли последний урок, так можно нарушать дисциплину? Встать!

Друзья, вздыхая, поднялись.

– Вы же будущие красноармейцы, должны иметь выдержку. Вот представьте: командир поставил вас в секрет, и что? Вместо дисциплины получится ерунда! Начнёте, как всегда, трепаться, и враги, белофинны либо самураи, вас заметят и застрелят, провалите боевое задание.

Друзья вспыхнули, Толик открыл было рот, но Тойвонен опередил:

– Да мы сами их первые застрелим! У нас «Сталинский дракон»! И кобура от нагана, и мотоциклетные очки...

– Перегрелся ты, Тойвонен, – покачала головой учительница. – Дракон у него. Может, у тебя и лягушка-царевна имеется, чтобы врагов заквакать до смерти? Марш на «Камчатку»!

Пылающий Серёжка поплёлся на заднюю парту под смешки однокашников.

Учительница дождалась, когда он усядется, и объявила:

– Всё, дети. Теперь вы не какие-то там первоклашки-несмышлёныши, а уже второклассники, взрослые люди. Встретимся осенью, хороших всем каникул, полезных и насыщенных.

Тойвонен всю дорогу до дома бурчал:

– Гримза она. Всё равно урок ведь закончился, так чего было меня на «Камчатку» слать?

Ещё и лягушкой опозорила, сама она лягушка. Самураи меня в секрете поймают, как же...

– Ладно, не ной. Ведь каникулы! – перебил Толик.

Врезал другу по башке тяжёлым портфелем, сбил фуражку. И, хохоча, побежал мимо дурманящих кустов сирени, по залитой солнцем улице – в лето.

* * *

Дома суeta, звон посуды, мама несёт на вытянутых руках дымящуюся кастрюлю. Сегодня бабушкин день рождения. В короткой жизни Толика этот праздник накрепко сплёлся с началом лета, поэтому – радостный. Вопреки занудным бабушкиным подругам с редкими седыми волосами, собранными в крысиные хвостики.

Вот опять – самая толстая распахнула красные руки, обслюнивила, засююкала:

– А кто это у нас такой синеглазенький? Большой какой вымахал! А стишкы нам прочтёшь? Прочтёт, гляди-ка! Головушкой белой кивает, точно – Тополёк! Ну, куда ты? Дай хоть тёте Клаве на тебя полюбоваться, потискать холёсенъского такого! А вот кому петушка на палочке, сла-а-аденьского?

Толик отскочил к стенке, весь багровый. Демонстративно вытер слюни со щёк и строго сказал:

— Я вам не детсадовец какой, с бабками целоваться, я – второклассник! А петушка своего сами облизывайте, девчоночьего. Красвоенлыты такими не пытаются, только шоколадом, да и то – горьким, настоящим.

Тётя Клава осталась, развязала мокрый рот. Софья Моисеевна сердито сказала:

— Это кто тут старшим хамит, уши давно не оборваны? Ты чего меня перед боевой подругой позоришь? А ну, извинись немедленно.

Толик пробормотал что-то невразумительное, прошмыгнулся вдоль стены под протянутойся клещами бабушкиной рукой, спасая уши. Спрятался за шкаф, обиженно пыхтел, пока мама не позвала:

— Тополёк, ты где? Быстро руки мыть и за стол.

Примостился на край доски, положенной на две табуретки вместо лавки, – народу много собралось, стульев не хватало. Рядом с Серёжкой.

Друг сидел прямо, будто лыжную палку проглотил. Рубашка новенькая, парадная, руки в цыпках чинно сложены на коленях, волосы не вихрами торчат – прилизаны, а в уголках глаз – слёзы. Видно, тоже от матери досталось.

Толик наклонился к Тойвонену, одними губами спросил:

— Ты чего?

Серёжка не удержался, всхлипнул. Прошептал:

— А она чего? Я же не виноват, что не расчесать. Она меня под кран, да гребешком, чуть все волосы не повыдергивала. Папка, нет бы защитить – ржёт.

Встал Артём Иванович, сосед по лестничной площадке, весь розовый, блестящий, приторный, как марципановый поросёнок с витрины Елисеевского.

— Дорогие товарищи и, тасазать, друзья! В этот чудесный майский день мы собирались по весьма, тасазать, выдающемуся поводу, чтобы, э-э-э, засвидетельствовать уважение, пронизывающее всех нас, э-э-э... к заслуженному со всех сторон товарищу соседке Софье Моисеевне Горской, имеющей счастье... то есть, это мы, имеющие счастье быть в наличии ейными соседями и, некоторые тут, даже соратники. Борцы с кровавым царским режимом кровавого Николашки, которые пролитою кровью своей... Большевичка, измученная царской каторгой. Тасазать, старая!

— Артём Иванович, ты ври, да не завирайся, – перебила бабушка. – Я, может, и старая, да партия позовёт – враз помолодею. Нынешним сто очков вперёд дам. Или дело говори, или уступи кому, у людей водка в стаканах скоро закипит, что твой самовар.

— Так я же про что? – розовый сосед превратился в багрового, достал платок и начал яростно протирать лысину. – Я про то, что большевичка наша Софья Моисеевна, может, и старая, с пятого года член, тасазать, а как женщина – может, и молодая! Ещё ого-го!

— Ого-го, кобылка Соня, – передразнила бабушка. – Совсем зарапортовался. Или в женихи набиваешься?

Гости захохотали, а Толик громче всех. Представил себе, как сосед встаёт перед бабушкой на одно колено и просит руки, а бабушка ему – подзатыльник: «Опять лампочку на лестнице выкрутил?».

Артём Иванович, уже даже не багровый, а синеватый, прохрипел, перекрикивая смех:

— Старая большевичка! Даже и вместе с товарищем Сталиным в ссылке! Так выпьем же за товарища Сталина!

Все разом перестали хохотать, подтянулись, и последний смешок Толика – не успел сдержать – прозвучал крайне неуместно. Бабушка глянула на внука сердито, подняла стакан с водкой:

— Это правда, мы с Кобой в Туруханском крае встречались. За Сталина — вождя мирового пролетариата и всей нашей революции!

Зазвенели сдвигаемые рюмки, стаканы и фужеры, гости разом заговорили, зашумели, зазывали ложками в салатницах. Толик с Серёжкой хотели под шумок стащить сладкое и сбежать, но получили по порции судака с картошкой. Мама сказала:

— Никаких побегов, пока не съедите. Ещё салат, и только потом чай с пирожными.

* * *

Раскрасневшиеся взрослые, как всегда, разбились на компании по трое-четверо и говорили все одновременно, громко, каждый — о своём.

Только старший Тойвонен сидел один, глядел куда-то: то ли в даль, то ли внутрь себя. Обморожение изуродовало щёки и лоб, сизая кожа собралась вечно мокнущими складками. На правой руке осталось всего два пальца, указательный да средний, и отец Серёжки будто постоянно показывал знак победы «V».

Толику разглядывать уродство было и стыдно, и неудобно, но удержаться он не мог, смотрел украдкой, охваченный сосущим чувством любопытства и ужаса.

Бывший командир теперь ходил в цивильном пиджаке с орденом Красной Звезды на лацкане: тёмно-рубиновые, словно свернувшаяся кровь, лучи, а на свинцовом поле — боец с винтовкой. Наконец старший Тойвонен очнулся, ухватил рюмку водки, зажал между пальцами, словно плоскогубцами, опрокинул, подмигнул мальчишкам:

— Что, скучно вам? Дуйте гулять.

— Мы не гулять! Мы «Сталинского дракона» запускать! — похвастался Серёжка.

— Дракона, значит. Сталинского.

Старший Тойвонен перестал улыбаться, опять упёрся взглядом в только ему одному видимое.

Мальчишки осторожно сняли со шкафа модель и бочком-бочком выскочили из квартиры.

* * *

Ключ от чердака из дворницкой стащить нелегко. Брать мальчишкам его не разрешалось, но придумали, как сделать.

Ахмед сидел за ободранным столом и, счастливо жмурясь, шумно прихлёбывал из блюдечка вечный чай. Серёжка остался у двери, а Толик подошёл ближе, чтобы максимально перекрыть обзор.

— Здравствуйте, дядя Ахмед! Как ваши дела, как здоровье? Что поделываете?

Дворник поставил блюдце, недоверчиво сказал:

— Щай пью, не видишь? Што опять натворили, шпана? Окно разбили, инян кутэ?

Горский изобразил удивление:

— Да с чего вы так подумали, дядя Ахмед? Я как октябрёнок интересуюсь, по-человечески. Шли мы с другом мимо и дай себе думаем: надо зайти, вдруг дяде Ахмеду помочь надо? Поднести, отнести.

— По-щеловещески! По-щеловещески драть вас надо, шайтан! Нет бы ущиться в школе — они по подвалам шлындывают!

— У нас каникулы, — пискнул от двери Серёжка, но дворник продолжал:

— Кто футболом фортошку разбил третьего дня в щетырнадцатой? Думаешь, не знаю? Думаешь, Ахмед старый, из ума выжил? Я вот сейчас дам метлой по жопе, увидишь, какой я выжил из ума!

Серёжка сзади кашлянул.
Толик понял сигнал, сказал:
– Всё, дядя Ахмед, не надо. Всего хорошего, мы побежали, уроки «ущить».
Друзья исчезли, а татарин всё продолжал ругаться:
– Шлындают и шлындают, шайтан! Щаю попить не дают.
Запыхавшись, забежали в парадную.
– Чего так долго? Я уж не знал, чего ему ещё болтать, думал, точно метлой врежет, – выдохнул Толик.
– Я не сразу нашёл, там же их куча на щите, да ещё боялся, что зазвеню.
– «Зазвеню», – передразнил Толик. – Тоже мне, колокольчик! Ладно, покажи, тот хоть?
Тойвонен раскрыл вспотевшую ладошку. На ней лежал тяжёлый ключ. Бечёвкой к ключу была привязана деревянная бирка. Химическим карандашом на ней было написано: «2-я парад. ч-дак».
– Тот! – выдохнули одновременно.

* * *

Название воздушному кораблю придумывали долго. Серёжка предлагал всякую ерунду: то «Витязь», то «Бронепоезд», а то вообще какой-то «Желеряб».

– Ты балбес, что ли? Где ты видел летающий бронепоезд? Что ещё за «желеряб» такой? – возмущался Толик.

– Бронепоезд здоровский. Крепкий, и огневая мощь, – оправдывался приятель. – А «желеряб» значит «железные ребята», то есть мы с тобой. Лучше ещё «Желеряб Тойгорский»! В смысле, Тойвонен и Горский.

Толик, подражая бабушке, когда она ругалась с печником, закатил глаза:

– Милостивый государь, это несусветная чушь! Ещё предложи «Чудоки Сертолики».
– Какие такие чудаки? – растерялся Тойвонен.

– «Чудесные октябрята Серёжа и Толик». Самолёт надо называть по-другому, вот как в газете пишут. «Сталинский маршрут». Или как лётчиков, «сталинский сокол».

«Орлом» нельзя: орлы – они царские, самодержавные. Но и «соколы», и «чайка» были уже заняты. «Вороной» решили не называть ни в коем случае – курам на смех, да и Лариска загордится, она и так балованная.

Наконец, остановились на «Сталинском драконе». Дракон был на картинке в одной из книжек, привезённых старшим Тойвоненом из Таллина. Летал он будь здоров, да и огнём пыхал не хуже бронепоезда.

Красной тушью написали название на крыльях из папиросной бумаги. Получилось не очень: тушь расплывалась, как кровь из разбитого носа, оттого и звёзды вышли кривые, безобразно толстые, но Толик решил не расстраиваться. Главное – есть самолёт! Размах крыльев – метр двадцать!

– Как думаешь, далеко полетит? – поинтересовался Серёжка.
– Конечно! Видишь, какой красавец получился. Да ещё и с крыши запустим.
– До Выборга долетит?
– До самой границы! Враги увидят бомбовоз с красными звёздами, да и разбегутся, кто куда.

Конечно, враги не такие дураки, чтобы бояться бумажной модели, пусть даже и «Сталинского дракона», но выдумывать было весело.

Осторожно, чтобы не зацепить хрупкие крылья, выбрались через чердачное окно на крышу. Железо дышало набранным за день жаром, взволнованно чирикали воробы, а вечернее солнце даже задержалось на небе, чтобы полюбоваться историческим полётом.

Бросили гриненник – кому запускать. Выпала «решка». Тойвонен посерёзнул, аккуратно, кончиками пальцев, обхватил тонкий реечный фюзеляж. Размахнулся…

Над двором летел белокрылый самолёт. Восходящие тёплые потоки поднимали его всё выше – над каналами и проспектами прекрасного Города, над аплодирующими тополями.

Восхищённые чайки приветствовали криками, трамваи внизу визжали от восторга. Золотой шпиль Петропавловки сиял, как маяк, показывая «дракону» правильный путь.

Эх, жаль, что папка не видит! Но он далеко, в экспедиции, в таинственной стране Памир.

Толик прикрыл глаза обнаружил себя в кабине: жаркий комбинезон, собачьи унты, пальцы в меховых перчатках крепко держат штурвал.

Валерий Чкалов сжал плечо, кивнул:

– Давай, Тополёк. Маршрут верный.

Белый самолёт превратился в точку – и исчез, нырнув в ярко-рыжую волну заката.

13. Лёд

Город, лето

Толстое стекло витрины не пропускало звуков предвечернего города. Игорю принесли большую кружку кофе. Парок поднимался, извиваясь туманной змейкой.

Игорь смотрел, как у припаркованной возле кафе «газели» два брюнета в застиранных спецовках горячо спорят, машут руками и возводят очи горе, видимо, призывая в свидетели Всевышнего. На борту грузовичка с надписью «Памир» были изображены заснеженные горы, смотреть на которые в такую жару было особенно приятно.

Краем уха Игорь слушал малопонятную болтовню Белки:

– …а тут такие траблы: заблокировался айпад. Чтобы блокировку снять, надо обнулить машину, а там морды и ролики бесценные. Мой айтюнс и на макоси, и на винде отказывается даже смотреть на, прикиньте?

Конрад неуверенно кивнул. Кажется, он пребывал в изумлении.

– Ну, я сигналю френдам: котаны, хелп! И один такой, прошаренный: мол, бекап же делается автоматически айтюнзом каждый раз при подключении к компу. Сбрасываешь планшет, рекаверишь из бекапа – бинго!

Белка откинулась на стуле, обтянув маечкой соски, и счастливо захохотала.

– Всё это крайне любопытно, но нам пора… – начал Игорь.

Распахнулась, звякнув колокольчиком, дверь: договорившиеся наконец брюнеты, кряхтя, втащили в кафе огромный бруск льда в раскинутом картоне. Первый, пятясь, упёрся задом в стойку, спросил бармена, полуобернувшись:

– Куда его, начальник?

Бруск дымился и капал на пол.

– Вы чего, это не к нам, не сюда! – закричал очнувшийся бармен. – Вот чурки бестолковые!

– Э-э, «щюрка» не надо. Бумага смотри.

Первый грузчик, пыхтя, подставил колено под ледяную глыбу. Освободившейся рукой полез за пазуху, доставая мятые листки.

Глыба выскользнула и грохнулась на пол – будто рванул снаряд, разлетевшись синеватой шрапнелью.

Второй брюнет отскочил и отчаянно заорал, мешая свои и русские слова:

– Ман ба шумо гуфтам, номер дома другой. Что теперь, ахмак шумо! Мизбон Помир деньги теперь штрафует, чаханнам.

Белка вдруг дёрнула Дьякова за руку, завизжала:

– Что с ним?

Абсолютно бледный Конрад с остановившимся взглядом поднимался из-за стола. Слепо шарил рукой, роняя стаканы, сахарницу… Прохрипел чужим голосом:

– Мизбон Помир. Хозяин Памира.

Пошатываясь, подошёл к растерянным грузчикам, навис:

– Мин ана?

– Чего? Не понимай, – поразился первый брюнет.

Дьяков, замерев, смотрел в обтянутую светлым плащом спину. Взбешённый Конрад схватил брюнета за грудки, затряс, закричал:

– Мин ана? Шину исми?

Второй гастарбайтер промямлил:

– По-арабски. Совсем глупо. Спрашивает, кто он такой и как его зовут.

– Я откуда знай? – удивился первый грузчик.

Конрад бросил жертву. Перевёл тяжелый взгляд на второго таджика – тот попятился в ужасе, выставив вперёд руки и лепеча:

– Не убивай меня, дэв, я не знаю твоего имени.

Конрад посмотрел на разлетевшиеся по кафе куски льда. Нагнулся, поднял один к глазам. Прошептал:

– Ях. Лёд. Кругом один лёд. Холодно.

Белка рванулась первой, Игорь за ней. Девушка вцепилась в рукав неузнаваемого Конрада, тряслась, просила сквозь слёзы:

– Ну хватит, хватит! Вам плохо? Что с вами?

Дьяков поддержал:

– Врача, может, вызвать, Анатолий Ильич?

Конрад ударил взглядом – Дьяков замер. Пошагал к витрине с висящей на рукаве девушкой, бормоча:

– Не Анатолий. Рамиль знает, кто я. Надо проломить лёд.

Стряхнул Белку. Ударил кулаками в витрину, та загудела, но выдержала. Схватил пустой стол с тяжёлой мраморной столешницей, поднял легко, развернулся – и швырнулся.

Орал ошарашенный бармен, скулили от ужаса грузчики, в голос рыдала Белка, с чудовищным грохотом рушилось многометровое стекло.

Конрад дождался, когда упадут последние обломки витрины, и шагнул в получившийся проход.

Когда очнувшийся Игорь выскочил на улицу, она была уже вымершей. Голой, будто выжженная злым солнцем пустыня. Забежал в одну арку, в другую. «Колодец», тихий до звона в ушах: не треплются воробы, не стонут дверные пружины.

Никого.

– Товарищ! Я здесь на проспект выйду?

Дьяков вздрогнул, обернулся. Брюнетка появилась невесть откуда: выгоревшая пилотка с зелёной звёздочкой, тонкая белая шея, торчащая из ворота мешковатой гимнастёрки, словно ландыш из ржавой консервной банки. Плечевой шов сползл чуть ли не до локтя, карабин оттягивал узкое плечо и казался неуместным, как швабра в руке художника. Кино снимают?

– Товарищ! Неужели трудно ответить?

Девушка нахмурилась, оттолкнула и скрылась в арке с обшарпанными боками.

Игорь сглотнул. Очнулся и бросился вслед – спросить о Конrade.

В прохладном туннеле пусто. В просвете – зелёный борт старинного грузового автомобиля.

– Красноармеец Дубровская! Почему опаздываем?

– Заблудилась. Виновата, товарищ старшина.

– Понаберут в армию всяких. Как ты в поле расположение части разыщешь, если в городе блудишь? В кузов, живо.

Хлопнула дверца. Рявкнул двигатель, синий дымок выхлопа проник в арку. Дьяков поспешил наружу: на проспекте – ни одной машины в час пик. И «полуторка» исчезла.

Игорь шагнул на мостовую, озираясь. Ерунда, бред. Куда же пропал Конрад? Куда делись машины, люди, птицы?

– Посторонись!

Дьяков едва успел отпрянуть на тротуар: вдоль проспекта плыл серый кит аэростата. Он был огромен, нетороплив и погружен в себя, словно набирался сил перед полётом. Левиафана удерживали за подвешенные к раздутым бокам верёвки одетые в шинели девушки. Второй от тупого носа шла красноармеец Дубровская – та самая, которая пять минут назад уехала в кузове «полуторки».

На её посиневших щеках проступали сочащиеся гноем пятна. Глазницы вдруг опустели, провалились, превратились в чёрные ямы.

– Посторонитесь, гражданин. Не препятствуйте движению.

Пожилой с четырьмя треугольниками в голубых петлицах подошёл вплотную. От него пахнуло гнилью. Сквозь разодранную гимнастёрку виднелось расползающееся исподнее в бурых заскорузлых пятнах.

Игорь отшатнулся к стене. Всхлипнул, рванул пуговицу и просунул ладонь под рубашку, пытаясь зажать пляшущее в бешеной скачке сердце. Замутило, жёлтая пелена застила глаза, всё вдруг закружилось, завизжало, как двигатели вражеского самолёта – того самого, который не должен был пропустить к городу аэростат заграждения.

– Дяденька, вам плохо? Дяденька!

По изнывающему, истекающему горячей асфальтовой воною проспекту ползла бесконечная пробка. Светловолосая девочка лет семи теребила за рукав, заглядывала в глаза:

– Если плохо, надо в «скорую» звонить. Только у меня мобильника нет, мама говорит, что потом купит, с квартальной премии. Дяденька, это когда?

Игорь мотнул головой, глубоко вздохнул. Звон в ушах отступал, и сердце грохотало реже, но всё равно сильно, словно пыталось выбить дверцу грудной клетки. Вспомнил про ребёнка:

– Что «когда»?

– Ну, эта… Квартальная премия. В классе у всех мобильники, меня лохушкой дразнят.

– Не знаю.

– Жалко. А у вас есть мобильник? Айфон, наверное, – девочка горько вздохнула. – Будете в «скорую» звонить?

– Нет, не буду.

– А меня Настей зовут. Все уехали, кто на море, кто на дачу, я, как дура, одна в городе. Потому что денег нет, и дачи нет, и смартфона. Ничего нет, просто какой-то кошмар. А дяденька воронёнка спас. Он совсем подрос. Воронёнок, конечно, подрос, а не дяденька. Про дяденьку я не знаю, я его не видела больше. Мама говорит, что пора выпускать на волю, а я не хочу.

– Детка, ты меня заболтала вконец, – прохрипел Игорь. – Спасибо тебе за заботу, но у меня дела.

Пошагал к кафе.

– А воронёнка Конрадом зовут! – крикнула вслед девочка.

Игорь вздрогнул, обернулся.

Как ни странно, девочка не исчезла. Так и стояла: жёлтые косички с выбивающимися «петухами», белое платьице и сползший гольф на левой ноге.

* * *

Вернулся в кафе. Грузчики исчезли, уборщица собирала гремящие осколки стекла и обломки льда в ведро, бармен кричал в трубку:

– И ушёл! Витрина вдребезги. Да вызвал ментов, сказали – ждите…

Белка уже перестала плакать, хлюпала красным носиком. Спросила:

– Ты видел его глаза?

– Что? Да, глаза. Бешеные глаза.

– Да не то, – нетерпеливо махнула рукой девушка. – Они чёрные.

– Может быть, – рассеянно сказал Дьяков.

– Ты идиот? – рассердилась Белка. – Не заметил? Не знаешь, какого цвета глаза у твоего друга? Они были голубые, понял? Голубые! А стали чёрные! Как будто другой человек теперь.

– Другой?

Дьяков сел на стул, пробормотал:
— Теперь. Можно подумать, кто-то знает, кем он раньше был.

Часть вторая Рамиль

14. В горах

Памир, лето 1940

Вернуться засветло не успели. Чёрное небо накрыло закопчённым казаном, первые звёзды, заспанно помаргивая, украсили ночь.

Илья бросил поводья: в темноте лошадь лучше найдёт дорогу, если ей не мешать; шуршили камешки под копытами, впереди фыркал злой жеребец Рамиля, камертоном звякала сбруя, словно отвечая ей, хором трещали цикады.

Начался спуск. Илья откинулся назад, почти касаясь лопатками лошадиного крупса. Зашумел горный ручей, на берегу которого – лагерь экспедиции.

– Припозднились, начальники, – сказал пожилой таджик из obsługi. – Плов остыл. А подогретый плов совсем не то. Не то, эх... Обещали же к полудню, я старался, зря только девизиру потратил. Если бы знал...

– Хватит ныть, – перебил Рамиль. – Коней прими, забери образцы у Ильи Самуиловича.

– Я сам, – возразил Горский. – Опять в кучу свалят, потом не разобраться.

Прошёл в палатку, таша в руке тяжёлый сидор. Как всегда, после долгого пути верхом ломило спину, ноги не гнулись. Верно папа говорил:

– Хлипкая пошла молодёжь, мы в девятнадцатом в седле спали, в седле ели, а вы? Балованые да ленивые, до университета всего два километра пешком – нет, на трамвае норовят!

Папа университет так и не закончил: третьекурсника факультета астрономии и геодезии арестовали и сослали в Енисейскую губернию в девятьсот пятом. Побег, арест, снова побег... Илья родился в десятом году, когда отца поймали в очередной раз. И увидел его впервые только весной семнадцатого, в Петрограде...

– Чего в темноте?

Рамиль засветил керосинку, поставил на стол.

– Почту привезли из Сталинабада, утром курьер был, оказывается.

Илья оживился:

– Мне есть что-нибудь?

– Да, письмо.

Илья схватил конверт, обрадовался, узнавая почерк Наташи: округлые, неторопливые буквы, аккуратно рассаженные по строчкам.

– От жены? Счастливчик вы, Илья Самуилович! А мне опять ворох циркуляров из Сталинабада, «усилить, углубить, бдительность, процентовки».

Илья не ответил, сел на заскрипевшую пружинами койку, нетерпеливо разорвал конверт. Долго не мог выдернуть из-за пазухи завёрнутые в тряпицу очки – волновался.

Рамиль хмыкнул. Вышел, вернулся с медным чайником, захлопотал, доставая из тумбочки кружки. Поставил на стол расписанное узбекское блюдо с жёсткими пластинками пахучего чучука и сладкими фиолетовыми луковицами, разломил пополам румяную лепёшку, обнажив нежную пенистую внутренность.

Илья в очередной раз перечитывал письмо, улыбался уголками губ. «Хоть повеселеет, – подумал Рамиль, – а то смурной, как туман в горах». Вслух сказал:

– Посыльный от геологов, они у ледника маршрутную съёмку заканчивают, им переезжать надо, а не могут снять лагерь. Что-то там у них нештатное произошло. Просят подъехать

и палеонтолога взять, ещё бы радиофизика попросили. Где я им палеонтолога найду? Вот и сойдёте за искомого.

Горский рассеянно кивнул:

– Геологи, да. Что ищут? Золото, небось?

– Говорю же, – дёрнул подбородком Аждахов. – Они не ищут, а геологическую карту делают, масштаб семьсот пятьдесят тысяч. Падение пластов, границы слоёв, выклинивание пород – всё это хозяйство, а уж за ними следом поисковики пойдут. Формально у геологов свои начальники, но они далеко, а я власть, как-никак, потому просят подъехать. И вы заодно до ледника со мной прогуляетесь, всё равно у вас в задании этот маршрут есть. Там такая долина по пути, сказка!

Горский промолчал. Аккуратно сложил письмо, спрятал во внутренний карман пиджака. Снял было очки, но передумал, снова водрузил на место, заправил пружинистые дужки за уши. Подсел ближе, начал есть – деликатно, как всегда.

– Вот что значит воспитание, – произнёс Рамиль. – Видно же, что проголодались, а не спешите. Я велел плов на утро оставить, встанем до рассвета, дорога неблизкая.

– У меня кобыла, как бы это правильно… Засекается, да?

– Да, – кивнул Рамиль. – Я уже велел поглядеть. Может, перековать надо. А вам распорядился другую лошадь приготовить, до геологов путь трудный, отметка выше на четыреста метров.

Илья прожевал жёсткий кусок мяса, спросил:

– А что нам до этого ледника? Ещё тут многое не сделано. На дальнее пастбище собирались, овец смотреть. И шерсти образцы.

Горский не сдержался, поморщился.

– Надоело вам, Илья Самуилович?

– Какая разница, товарищ Аждахов, надоело или не надоело, делать надо. Просто это всё не моё.

– Ну да, я знаю. Вы ведь теперь у Шванвича. Но кафедры энтомологии нет, так что все вы нынче зоологи.

– А вы неплохо знакомы с нашей структурой, – пробормотал Горский. – Неожиданно для… человека вашей специальности.

– Ну, чего вы замялись, Илья Самуилович? Так и скажите – для энкаведешника, – ухмыльнулся Рамиль. – Вы же видите во мне если не матёрого чекиста, так минимум главного сексата на весь Бадахшан. Третий месяц вместе в горах, тут люди обычно быстро сходятся. Или если уж расходятся – так насмерть, навсегда. Я – всего лишь начальник экспедиции, поверьте, хоть и назначенный совнаркомом республики.

– Ну да, конечно. Исследователь в штатском. Или без «ис»? Не хочу я это обсуждать, лучше отчётами займусь, всяко полезнее.

Илья потянулся к сумке, но Аждахов перехватил руку, сказал тихо, но твёрдо:

– Подождёт работа. Нам скоро через Алагач идти вместе. А там… Чёрт-те что там: и туманы странные, и тропы нет – одно название. Целые караваны пропадали, бесследно – ни косточки, ни тряпочки, ни эха. Я-то знаю, я здесь всё облизил, и не раз. Нельзя туда без веры в напарника. Доверие – не пустое слово, а непременное условие.

– Да не нуждаюсь я в вашем доверии, – пробормотал Илья.

– А я в вашем – нуждаюсь, – с нажимом произнес Рамиль. – Чтобы знать, кто на том конце троса. Не затрясётся ли, не растеряется. Или перережет в острый момент – не горло, так верёвку. Я знаю, что вы – вавиловский.

– Конечно, знаете, – оскалился Горский. – У вас же всё расписано. Как там? Досье, папка, дело, верёвочки аккуратным бантиком завязаны.

– Ничего подобного. Просто есть знакомцы в Ленинграде, ещё с двадцатых. И геологи наши шепнули. Кстати, я и вашего отца знал – так, шапочное знакомство. Или, скорее, чалистое.

– Какое? – удивился Илья.

Аждахов тихо рассмеялся. Потрогал чайник. Наполнил кружки, протянул Горскому.

– А вот. Он разве вам не рассказывал про Афганистан? Про двадцать девятый год?

– Он вообще мало что… про своё боевое прошлое. Что-то нельзя было, а что-то, наверное, и вспоминать не хотел.

– Ваш отец у афганского хана Амануллы в гвардии начальником кавалерии был. Никому и в голову не приходило, что он русский, за нуристанца принимали, есть такой народ в Афганистане. Беловолосые да голубоглазые, считаются потомками воинов Искандера Двурогого. Ну, Александра Македонского…

– Понимаю, – кивнул Горский. – Крайне любопытно!

– Ну вот, я тогда служил в особой бригаде Среднеазиатского округа, эскадрон стоял в Кушке. Должен был на гражданку уходить, на учёбу в Ленинград посылали, а тут стоп-машина: в Афганистане мятеж, Амануллу свергли, а он нашим считался, просоветским. Эскадрон – по тревоге, отпуска и увольнения отменили, через речку и сразу в бой. Примаков нами командовал, Виталий Маркович. Вызывает меня, даёт поручение: отобрать два десятка надёжных ребят, местных, таджиков в первую голову. Форму красноармейскую сдали, в халаты да ичиги облачились, бойцы – в паколях, это такие бескозырки местные, из шерсти, но без ленточек. А мне, как командиру, зелёную чалму выдали. Будто я хаджи, совершивший паломничество в Мекку.

Аждахов фыркнул, покачал головой. Глотнул из остывшей кружки, продолжил:

– Ребята засмеяли: всё, говорят, у тебя, Рамиль Фарухович, есть для счастья, и должность комэска, и орден Красного Знамени, и Красная Звезда Бухарской народной республики, а вот зелёную чалму только сейчас выслужил. Ну, я натурально разозлился, чалму – в мешок, тоже паколь надел. Пошли. Ночами, кишлаки стороной обходили.

Всякое было: война кругом, все против всех. Дошли до точки рандеву, осталось нас уже восемь. А там – засада. Как начали из пулемёта. «Льюис» – машина серьёзная, коли в умелых руках, да. Грамотный, гад – положил нас на тропу, голову не поднять, не уползти никуда. И орёт по-пуштунски: сдавайтесь, кяфиры, тогда ждёт вас лёгкая смерть, а иначе кишкы вытащим и на башку намотаем. Ну, думаю, всё, двенадцать лет воевал, устала моя смерть кругами ходить, пора и честь знать. Ребятам говорю: сейчас встану – и гранатами, а вы прыгайте за камни. Может, и повезёт кому.

Рамиль вновь глотнул чаю, достал портсигар, раскрыл. Протянул Илье:

– Угоститесь?

– Благодарю, не употребляю, – нетерпеливо дёрнул подбородком Горский. – А дальше что?

– А дальше… А дальше этот пулемётчик орёт по-русски. Даже, прямо скажем, совсем по-русски, ни с чем не перепутаешь. Мол, такие-сякие-немазанные, хватит шептаться, сдавайтесь, или всем полный и окончательный кирдык. Ну, он короче сказал и внятнее. Потом спохватился и уже по-пуштунски повторил – менее доходчиво, конечно. В этом смысле пуштунская речь не в пример беднее русской, стоит признать. Тут уже я ответил на языке Пушкина и Ломоносова: мол, что ты, гад, творишь, по своим шпаришь, что по фанеркам. Пулемётчик явно озадачился, не ожидал такого поворота. И спрашивает: если вы, мол, свои, то какого хрена в неправильном головном уборе?

Меня тут зло взяло. Я в восемнадцатом на Туркестанском фронте бился, был у нас один боцман, чудом его в пустыню занесло. Боевой, Цусиму прошёл. Усы – двенадцатидюймовые, честное слово, не вру. Вот он меня, сопляка ещё, обучил всяким многопалубным конструк-

циям, от малого шлюпочного загиба до аврально-полундрового раскардаша. Ну, я со злости и выдал – и про пулемёт, и про пулемётчика. Про горы, так сказать, и долины, а также их родственников обоего пола. А отдельно – про головной убор, который кому-то приспичил. И как этот головной убор должен выглядеть. Характерной такой формы должен быть, знакомой любому, имеющему опыт половой жизни. Закончил – тут тишина, прямо благоговейная. Кричу: чего, мол, замолчал, снайпер? А он так уважительно: да я запоминаю. Силён ты, конечно, друг, но шапочку предъявить надобно. И показывает из-за камня… Тьфу ты! Зелёную чалму. Я себя по лбу хлопнул, из мешка такую же вынул, помахал. Так что пришли к консенсусу.

Аждахов замолчал. Улыбался, покачивая головой, воспоминания ещё бродили по лицу.

– А причём тут мой отец? – спросил наконец Горский.

– Как это причём? Так он и был тем самым пулемётчиком. Он из Кабула вывез ящики с чем-то крайне ценным. Тоже нахлебались ребята: их всего трое осталось, и все пораненные. Ну, выбрались мы к своим, а там уже самолёт из Ташкента за вашим отцом прилетел. И ещё раз мы в тридцать втором встретились, он нам спецкурс читал в Ленинграде.

Аждахов вновь потрогал медный бок чайника.

– Пойду, подогрею на костре. А вы начинайте собираться. Наган не забудьте.

– Странное дело, – пробормотал Илья. – Никогда не видел столько оружия в научной экспедиции. Зачем?

– А затем, что места здесь не просто дикие – самые басмаческие, скажу прямо, места. Ибрагим-хан тут долго держался, всё никак выковырять не могли. Пока не догадались гравницу открыть и позволить уйти ему в Афганистан вместе с самыми ярыми сторонниками, их семьями и скотом. Да всё равно, многие остались. В какой кишлак ни зайдёшь – обязательно на бывшего юзбashi какого-нибудь наткнёшься. Такие дела, Илья Самуилович…

Рамиль взял скрипнувший чайник и вышел вон. Горский смотрел на огонёк керосинки. Молчал.

15. Фантомные боли

Где-то. Когда-то.

Создание было совершенно изумительное: с полупрозрачными крыльшками, крохотной головкой и тонкими ножками балерины.

Оно сидело на моей груди и покачивалось под ветерком, словно яхта, нащупывающая парусом нужный галс.

Я боялся дышать, но не выдержал – раскашлялся. Бабочка (Да! Я вспомнил имя создания!) вспорхнула испуганно, бросив на меня осуждающий взгляд. Захлебываясь кашлем, я поднялся и сел. С плаща хлынули прозрачные осколки – то ли стекла, то ли льда.

Вокруг был раскалённый солнцем камень – но не горный, дикий и вольный, а обтёсанный, дисциплинированный и принужденный к рукотворному порядку. Это был не Памир. Это был Город.

Передо мной качались зелёные одежды кустов. Стали возвращаться звуки и запахи, больно было прямо в мозг нефтяным, тягучим, настойчивым. Барабаны рокотали из тысяч радиоприёмников в ритме волнующегося сердца.

В голове сбились в комок разговоры о диковинных вещах. Голос брюнета с аккуратным пробором, его испуганные глаза. Какая-то девушка, почему-то обритая наголо, словно в послевоенном детприёмнике – но ухоженная, непуганая. Даже, пожалуй, красивая.

Странное чувство узнавания настигло меня: такое уже случалось. Я (кто – «я»?) в неизвестном месте, в неопознанном времени. Но вот именно это ощущение потерянности было застарелым, навязчиво знакомым и одновременно нереальным, словно фантомные боли калеки.

Калеки.

Фаруха называли «хаджи»: будто бы в молодости он совершил паломничество в Мекку, но на обратном пути афганские разбойники разграбили караван. Фарух, тогда молодой, искрящийся силой, не пожелал покорно отдавать последнее. И ему отрубили ноги.

Так он рассказывал о себе сам. На самом деле ноги ему оторвало русской бомбой при обороне Ташкента, но об этом лучше было не распространяться. Фарух с глиняной чашкой для подаяний сидел в тени карагача, недалеко от резиденции генерал-губернатора, которую все называли «домом Кауфмана». Если ты собираешь милостыню рядом с домом большого русского начальника, гораздо разумнее слыть искалеченным хаджи, а не бывшим аскером кокандского хана.

Первые воспоминания – об этом: я сижу в пыли, на моей шее верёвка. Колючая, затянутая тую, раны от неё не заживают, муhi разъедают язвы. А другой конец привязан к поясу Фаруха-хаджи. Он мой хозяин, с мальчиком на верёвке подают больше.

Подходит русский. Огромный, усатый, потный, в белой тужурке и с шашкой в ободраных ножнах. Его все боятся, даже Фарух немного.

– Отставить! – гаркает городовой. – Установления нарушать? Почему верёвка? Сей секунд снять!

– Ай, твоё благородие, да продлит Всевышний твои счастливые годы, – бормочет старик. – это Рамиль по прозвищу Аждах, несчастный сирота. Пророк, мир ему, да будет крепок хрустальный свод его могущества, завещал правоверным заботиться о вдовах и сиротах. Подходящей вдовы не нашлось, вот и приходится довольствоваться тем, что я пекусь об этом грязном мальчишке.

– Мне твой Магомет не указ, – бурчит русский. – Чай, не околоточный надзиратель. Сними, говорю, бечевку с пострелёнка. Что он тебе, зверь обезьян?

Фарух-хаджи таращит честные глаза и поясняет:

– В него вселились дэвы, мальчик не помнит себя. Вот и привязываю, чтобы не утоп в арыке. Либо, избавь Милосердный, не попал под копыта верблюда или колесо арбы.

Фарух протягивает русскому серебряный гривенник.

Городовой сморкается, прижав одну ноздрю пальцем. Говорит мне:

– Смотри тут, не балуй. Не положены никакие дэвы вблизи правительенного присутствия.

И уходит, я смотрю вслед.

Мимо продавец щербета катит свою тележку. В медном тазу оплывает на солнце кусок великолепного, белоснежного льда – такого же, как на вершинах Памира…

– Вам плохо, дяденька?

Я вздрагиваю и тру шею. Язвы давно зажили. Или их не было никогда?

Я сижу на скамейке. Напротив стоит смутно знакомая светловолосая девочка лет семи.

– Ой, я вас узнала! Вы дяденька-волшебник, вы мёртвого птенца оживили! А я Настя. Помните? Во дворе на Петроградке, я к подружке пришла, а её мама не выпустила гулять. Вспомнили?

Я гляжу гремящие виски и отвечаю:

– Конечно, помню. Я всё помню. И то, чего не было, тоже.

16. Изумрудная долина

Памир, лето 1940

По широкой тропе кони шли бок о бок. Рамиль беспрерывно травил байки из своей богатой биографии, но Илья слушал невнимательно, думая о своём, и лишь рассеянно кивал – не всегда к месту.

– …меня и продали. А куда деваться? По всему Бадахшану скот дох, эпизоотия. Жрать стало нечего, выбор небогат: ребёнок всё равно обречён, или с голодухи померт, или деньги за одного выручишь, да других детей накормишь. А я – от младшей жены сын. Теперь понимаю, что интриги там кипели покруче, чем в османском гареме. Словом, оказался я у бродячих работоторговцев. Да-да, дело это было и при царизме запрещённое, но имевшее место. А потом меня перепродали нищему, но это уже в Ташкенте произошло. Профессиональный нищий – величина была в дореволюционном Туркестане, у них даже своя тайная организация имелась, вроде нынешних профсоюзов.

Рамиль рассмеялся, но глаза почему-то оставались грустными.

– Потому и говорю: революция мне всё дала. Так бы сдох в какой-нибудь яме с бараньей требухой, бродячие собаки мои кишкы по кустам бы растащили. Ан нет, вырос Рамиль Аждахов человеком. Теперь с образованием, при важном деле, как-никак. Потому, говорю, моя это власть – до самых печёнок, до шрамов моих, до пули, что возле позвоночника застряла. Не стали эскулапы её вырезать – поостереглись, чтобы калекой меня не сделать. А то, что перебибы случаются, всяческие головокружения от успехов и торопливый суд – так что же делать? Мы первые в истории человечества, примеров для подражания нет. Так, Илья Самуилович?

– А? – очнулся Горский. – Знаете, вы сейчас прямо слово в слово, как моя приёмная мать, сказали. Мол, мы первые, а потому лес надо рубить непременно так, чтобы завалить щепками всю округу до неба. Не будем об этом, хорошо?

Подъём был трудным. Тяжело вздыхали кони, скользя и спотыкаясь на зыбкой тропе. Часто приходилось спешиваться, таща испуганно фыркающих лошадей под уздцы; тихий шорох скатывающихся камешков грозил превратиться в грозный рокот обвала.

Аждахов снял выгоревшую фуражку с тёмным пятном от звездочки на окольше, вытер мокрый лоб. Подмигнул:

– Ничего, зато сейчас настоящую сказку увидите. По-таджикски называется «Дом Зуммурад», изумрудная западня.

– Западня? – удивился Горский.

Рамиль не ответил, ругнулся на жеребца, пытающегося вырвать повод:

– А ну, чертяка, не балуй! Ишь, злится он!

Поднялся в седло, пришпорил. Горский замешкался, возясь с перекрученным стременем, догнал Аждахова не сразу. Последний поворот. Илья еле протиснулся между камнями, ударившись коленом, чуть не оторвав седельную суму, посмотрел вниз – и едва не вскрикнул.

Среди голых, пышущих чёрным пламенем гор разлеглась, словно гурия из мусульманского рая, чудесная долина. Изумрудная трава самого сочного оттенка покрывала пространство между хребтами, вспыхивали драгоценными камнями красные и жёлтые цветки. Причудливой змейкой вился ручей, то исчезая в зелени, то сверкая хрусталём…

Кони повеселились, чувствуя привал и водопой, прибавили сами, не дожидаясь пяток под бока.

Илья вдыхал аромат свежей травы, улыбался. Маленькие чёрные пчёлы трудолюбиво гудели, обихаживая цветы, и так было хорошо – слов нет. Хотелось упасть в мягкий ковёр, непременно на спину – и смотреть, смотреть в сапфировое небо, украшенное хлопковыми комочками облаков.

Когда остановились у ручья, Илья ретиво спрыгнул, шагнул к траве.

– Стоять! – громко крикнул Рамиль. – Не шевелиться.

Он резко нагнулся, чуть не выпав из седла, и хлестнул плёткой по земле рядом с ногами Горского.

Илья поднял вопросительный взгляд, краем глаза успел заметить, как в траве мелькнуло что-то, неотличимое по цвету – и исчезло.

– Не любят тут гостей, – непонятно сказал Рамиль. – Давайте обратно в седло. Через ручей, вон туда, на песок.

– Так в чём… – начал было Горский, но Аждахов только махнул рукой: потом, мол.

Кони вошли в прозрачную неспешную воду и разом опустили головы, пробуя её мягкими губами. Напились, пошли, разбрасывая сверкающие брызги, вынесли на песчаный берег.

Аждахов пояснил:

– Место тут странное. Казалось бы, райская долина: трава, вода, а люди не живут, так?

– Я заметил, – кивнул Илья. – Не понял только, почему.

– Потому что проклята эта долина, очень давно проклята, человеку здесь и суток не прожить.

– Ерунда какая! – вскипел Горский. – Что значит проклята? Вы что же, поддерживаете исламские заблуждения, сказки про этих, как их… Шайтанов? Или дэвов?

Спутник рассмеялся:

– Памирцы к жителям равнин и их верованиям относятся с иронией. Здесь небо гораздо ближе, значит, ближе и бог. Памирцы считают, что знают о высших силах много лучше, чем обитатели пустынь, верящие в своего пророка. Эта легенда появилась в Бадахшане на полтысячелетия раньше ислама. Хотя в ней явно слышны иудейско-христианские мотивы. Возможно, что к её созданию приложили руку несторианские проповедники. Змеи здесь, каких нигде в округе нет. Маленькие, вершков пять. Красивые! Обычно ярко-зелёные, но, говорят, и красивые встречаются, и синие, и перламутровые. Непонятно только, кто говорит: укусы этих малышей смертельны, нападают они неотразимо, и у встретивших змей выжить шанса нет. Человека раздувает, что твой шар. Бредит, чертей видит, несколько часов – и всё, оформляй протокол. Кровь словно нефть становится, густая, чёрная. Сам видел. И никак от них не уберечься, ещё никто тут ночь не пережил, хотя многие пытались.

Горский недоверчиво посмотрел на Рамиля:

– Вы меня извините, конечно, но это ерунда какая-то. Перламутровые змеи, неизвестные науке, – так надо здесь непременно задержаться, отловить образцы. И вообще, змеи шума не любят, да и сами редко нападают, если не провоцировать. Или вы меня разыгрываете? Местные сказки пересказываете?

Аждахов вздохнул:

– Уважаемый, мы уж сколько знакомы? Я разве похож на ковёрного или комика какого? Это Памир, друг мой. Тут тайн и загадок ещё надолго хватит.

– Так, – решительно сказал Горский. – Значит, непременно надо здесь разбить лагерь, всё изучить. Вам цель нашей экспедиции напомнить? Научное изучение новых возможностей экономического роста социалистического Таджикистана! Вот она, эта возможность, перед нами. Пастбище-то какое! А пчеловодство? Да тут и курорт можно устроить, не хуже, чем в Пятигорске.

– Хорошо, хорошо, – усмехнулся Рамиль. – Только не в этот раз. Нас геологи ждут, не забыли? Заметили, что тропа почти неторная здесь? Местные долину за пятнадцать вёрст обходят, кружной дорогой. Я из немногих, кто тут бывает, да и то не каждый год. И не ночевал ни разу. Не хочется, знаете ли, проверять правдивость легенды ценой своей жизни.

– Не ожидал от вас, – сердито бросил Горский. – Современный человек, коммунист – и такое невежество.

Рамиль вновь рассмеялся. Вскочил, отряхнул колени.

– Мне нравится смотреть, как вы злитесь. Наверное, вы матёрый боец в научных диспутах. Но нам пора ехать, чтобы успеть к геологам засветло.

Кони шагали по еле заметной тропе неспешно, вздыхали – видимо, не хотели так быстро покидать эту чудесную долину, прихотливую игрушку природы.

Рамиль высвободил левую ногу из стремени, ловко перекинул через седло, усевшись боком, лицом к собеседнику. Опёрся локтем на торчащий из кобуры приклад карабина.

– Ну так что же, будете слушать страшную сказку об Изумрудной Западне?

– Только если из вежливости, – буркнул Горский. – Потому как мне кажется, что вы наговариваете на это волшебное место. Вы только поглядите, какая благодать! Луга так и заманивают прилечь отдохнуть, пчёлки жужжат.

– Пчёлки жужжат, – подхватил Рамиль. – А птицы не поют, заметили? Они тут не гнездятся, потому как милые змейки уничтожают кладки яиц. Да и пчёлки ваши – дикие, неокультуренные и… Ай! – Аждахов вдруг вскрикнул и схватился за щёку. – Укусила, зараза!

– А вы не ругайтесь на насекомое, – развеселился Горский. – Обозвали дикой – получите.

– Смейтесь, смейтесь, – пробормотал начальник экспедиции. – Разбарабанит щёку, слягу с лихорадкой – сами будете путь в горах искать. А кстати! Вы ведь к нам командированы из отдела Шванвича, то есть энтомолог. Вот и повлияйте на своих подопечных! Прикажите. Пусть пчёлы, комары, слепни и прочие *insects* нас не беспокоят. Лишь бабочкам дозволяется радовать взгляд да светлякам – указывать путь в ночи.

– Сколько говорить: я не энтомолог в обычном понимании, – вздохнул Горский. – Я дрозофилист.

– Так дрозофила ваша разве не насекомое?

– Она ценна не этим. Томас Морган первым понял достоинства плодовой мушки для генетических исследований: быстрая смена поколений, малое число хромосом… Впрочем, – спохватился Илья, – мне не стоит об этом говорить. Сейчас, как вы знаете, я занят другими исследованиями, а генетика забыта.

– Да хватит вам, Илья Самуилович! Я уже объяснял, что не имею никакого отношения ни к карательным органам, ни к спорам вокруг учения вейсманристов-морганистов. Вот ответьте мне на один вопрос. Я, конечно, человек от науки далёкий, но кое-что читал из доступного широкой публике. Скажите: есть ли у человека такие гены, что заставляют его по-свински поступать с себе подобными? Жажда наживы, унижения и убийства братьев своих – это наследственное свойство человеческого рода? Ведь если так, то возникает сомнение в будущем *Homo sapiens*. Какой может быть коммунизм из такого человеческого материала – жадного, злобного, агрессивного? Или цель большевистских учёных в этом и заключается: обнаружить дурные гены, да и удалить их чёртовой матери, как хирург отрезает гангренозную конечность, чтобы спасти организм?

– Ничего подобного, – решительно заявил Горский. – В чём я абсолютно согласен с марксистскими классиками, так это в том, что дурные наклонности людей формирует отнюдь не набор хромосом, а отправленная предрассудками общественная среда. Стоит изменить её – изменится и человек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.